



ISSN 0132-1366



СЛАВЯНО •
ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1
1999
ЯНВАРЬ •
ФЕВРАЛЬ •

Содержание

Выступление Президента Республики Польша Александра Квасьневского на XII Международном съезде славистов..... 3

СТАТЬИ

- Мошкова Л.В.* (Москва). Гимнографические произведения Климента Охридского (структурно-содержательные особенности) 5
- "Утопия и утопическое" – материалы круглого стола 22
- Станков Н.Н.* (Волгоград). Отто Бауэр: восемь месяцев на Балльхаузплац 48
- Марьина В.В.* (Москва). 1944–1945 годы: ждали ли русских в Восточной Европе?..... 60
- Липатов А.В.* (Москва). Меценатство в Польско-Литовском государстве: высокая культура как сфера взаимосвязей и преемственности эпох (К постановке проблемы)..... 76
- Матула В.* (Братислава). Вместо оды – элегия (Об отношении Л. Штура к А.С. Пушкину)..... 87

СООБЩЕНИЯ

- Стыкалин А.С.* (Москва). Русский славянофил середины XIX века о зарубежных славянах (Путевые записки В.А. Панова) 94

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Васильева Н.В.* Й. Баев. Военнополитическите конфликти след втората световна война и България 101
- Буланин Д.М.* С.И. Николаев. Литературная культура Петровской эпохи..... 105
- Лабынцев Ю.А.* Русь – Литва – Беларусь: Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии 107
- Шведова Н.В.* J. Dohnal. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva..... 109
- Мусиенко С.Ф.* История литератур западных и южных славян..... 111
- Андрияка И.А.* Словацкая литература. От истоков до конца XIX века 117

Андреев В., Дороченков А. Державинские чтения в Санкт-Петербургском университете.. 121

* * *

| | |
|--|-----|
| Вендина Т. Памяти Божидара Видоеского (1920–1998)..... | 124 |
| Орел В.Э. Леонид Александрович Гиндин..... | 126 |
| Новые издания Института славяноведения РАН..... | 127 |

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю.С. НОВОПАШИН (главный редактор), **А.В. БОЛДОВ** (отв. секретарь),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, **Г.К. ВЕНЕДИКТОВ**, **В.К. ВОЛКОВ**, **Р.П. ГРИШИНА**,
А.А. ГУГНИН, **В.И. КОСИК**, **Г.Ф. МАТВЕЕВ**, **Г.П. МЕЛЬНИКОВ**,
В.В. МОЧАЛОВА, **С.В. НИКОЛЬСКИЙ**, **В.Я. ПЕТРУХИН**,
М.А. РОБИНСОН (первый зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), **Б.Н. ФЛОРЯ**,
В.А. ХОРЕВ, **Т.В. ЦИВЬЯН** (зам. главного редактора)

Зав. редакцией *И.И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Адельгейм И.Е., Белова О.В.,
 Васильев М.А., Веслова И.Ю., Кошкина Е.А.*

Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах объемом: статьи – не более одного авторского листа (24 стр. машинописного текста через 2 интервала); сообщения – до 16 стр.; рецензии, заметки о научной жизни и т.п. – до 6–7 стр. машинописи. Рукописи, оформленные без учета принятых в журнале требований, к рассмотрению не принимаются, рукописи не рецензируются. В случае отклонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.



ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША АЛЕКСАНДРА КВАСЬНЕВСКОГО НА XII МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

XII Международный съезд славистов проходил с 27 августа по 2 сентября 1998 г. в Кракове. В данном, собирающемся раз в пять лет научном форуме, участвовали видные ученые, представлявшие различные отрасли современной мировой славистики.

Приветственные послания Съезду направили премьер-министр Польши профессор Ежи Бузка и Папа Иоан-Павел II.

Специально на открытие Съезда прибыл Президент Республики Польша Александр Квасьневский, обратившийся к его участникам с публикуемой ниже речью.

Уважаемые господа!

Рад приветствовать в Польше всех участников XII Международного конгресса славистов. Ваш Конгресс – важное событие в мировой научной жизни. Множество исследователей, изучающих историю, культуру, фольклор, литературу и языки славянских народов, приехали в Краков со всего мира. Эта встреча подтверждает важную роль Вашей области знания в современной гуманитарной науке. Она свидетельствует также, что в мире возрастает интерес к славянам.

Мы испытываем глубокое удовлетворение от того, что на протяжении семидесятилетней истории этих конгрессов Польша уже в третий раз принимает у себя славистов. Это свидетельствует о высоком международном признании польской славистики. Мы гордимся, что сегодняшний высокий авторитет этой области науки – заслуга многих поколений выдающихся ученых. Стоит подчеркнуть, что традиции польской славистики закладывали поляки Адам Мицкевич, Иоахим Лелевель, Самуэль Богумил Линде, Александр Брюкнер и Ян Бодуэн де Куртенэ.

На этот раз мы принимаем гостей в Кракове. Это особый город – красивый, дышащий историей. Он славен также и достижениями краковских ученых, которые с давних пор поддерживают культурные традиции и научную атмосферу этого королевского города – старой польской столицы.

Дамы и господа!

Вас привело сюда стремление к обмену научными достижениями. Славистические исследования зародились около двухсот лет назад благодаря общей духовной потребности, которая возникла – почти одновременно – в разных местах и странах. Исторические перемены той эпохи ускорили возрождение многих славянских народов. Не говоря об очевидном политическом контексте, необходимо отдать должное тому, сколь многим славянское национальное сознание обязано науке, исследователям истории и культуры. Благодаря этому народы этой части Европы укреплялись в ощущении собственной значимости, осознавали свое право на самостоятельное существование, стремились к утверждению своей индивидуальности.

В XIX и XX веках на протяжении десятилетий осуществлялось неизбежное. После каждого исторического потрясения карта Европы пополнялась возрождавшимися и

вновь появившимися на свет славянскими государствами. Сегодня все наши народы обладают политической самостоятельностью. На современной карте Европы мы видим двенадцать славянских государств. Правда, процесс их возникновения подчас был болезненным. Потому для наших народов сейчас так важно умение преодолевать трудное прошлое, умение находить то, что нас – славян – объединяет и помогает создавать нашим народам лучшее будущее. Это должны делать не только политики. Не могу не выразить удовлетворение тем, что пользующиеся сейчас столь высоким авторитетом сообщества ученых-славистов активно участвуют в создании атмосферы диалога, сотрудничества и взаимопонимания. За эти усилия приношу вам глубокую благодарность.

Уважаемые господа!

Гуманитарные науки всегда стимулируются и вдохновляются реальной жизнью. В эпохи же великих общественных и политических перемен перед ними открываются новые области наблюдений и исследований. Радикально изменившаяся политическая реальность, в которой оказались славянские страны и народы в 90-е годы XX в., безусловно, ставит перед учеными много новых задач. Появляются все новые и новые проблемы, которые необходимо изучить, описать и объяснить так, чтобы они вызвали отклик у современников.

Общественно-политические перемены последнего времени открыли перед нашими странами новые перспективы. Они дали нам шанс присоединиться к современной Европе, чьи демократические институты, гражданские свободы и интеллектуальные стандарты являются основой благосостояния, экономического процветания и военной безопасности.

Процесс европейской интеграции необратим. Начатые переговоры должны уже скоро, в начале следующего столетия, обеспечить нашим странам участие в самом успешном политическом и экономическом начинании нашего континента – Европейском Союзе. Я уверен, что славянский фактор вскоре придаст нашей старой Европе новую динамику, укрепит ее идентичность и поможет положить конец историческим спорам.

Уважаемые господа!

Современные государства и общества высоко ценят возможность диалога с представителями науки и охотно пользуются результатами их трудов. На результаты работы Вашего Конгресса мы также возлагаем серьезные надежды. Мы хорошо осознаем, что благополучное будущее главным образом зависит от нас самих. Однако мы всегда с интересом будем ожидать научных суждений об общественных и культурных проблемах и явлениях. Как о тех, которые приближают нас к поставленной цели, так и о тех, которые могут от нее отдалять и перед которыми Вы бы хотели нас предостеречь.

Убежден, что все мы принимаем участие в событии огромной важности, и желаю всем участникам Конгресса интересных, стимулирующих и плодотворных дискуссий. Желаю успехов в Ваших исследованиях и международном сотрудничестве. Желаю также удачно провести время в старинном королевском городе – прекрасном Кракове, и получить как можно больше впечатлений от меняющейся и развивающейся Польши.



© 1999 г. Л.В. МОШКОВА

ГИМНОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО (СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ)

Памяти А.И. Рогова

Открытия последних лет в области оригинальной славянской гимнографии без преувеличения перевернули существовавшее до этого представление о широте литературной деятельности в кирилло-мефодиевскую эпоху. В первую очередь это относится к циклу трипеснцев и четверопеснцев Константина Преславского на дни Великого поста [1]. Акrostих, образуемый начальными буквами тропарей, огромен: первоначально он включал около 440 букв, а к настоящему времени в рукописях, его содержащих, засвидетельствованы 402 буквы [1. С. 36]. Помимо этого, были открыты другие как "подписные", так и анонимные каноны со славянскими акrostихами на некоторые господские и богородичные праздники, а также дни памяти святых [2–6], последним из которых стал новый канон первоучителю Мефодию [7]. Можно с уверенностью сказать, что поиск новых гимнографических произведений не закончен, и находки еще предстоят. Но, как это ни кажется на первый взгляд парадоксальным, собранный материал в настоящее время сравнительно мало изучен. Возможно, сначала радость открытия помешала осмыслению найденных памятников, а затем, по мере увеличения находок, каждая последующая воспринималась как "менее уникальная".

Настоящая работа и является попыткой первоначального обобщения части уже введенного в научный оборот материала. В качестве источника был выбран достаточно компактный и, что важно, почти полностью опубликованный комплекс служб ученика Кирилла и Мефодия, "славянского Златоуста", святителя Климента, архиепископа Охридского.

Гимнографические произведения, принадлежность которых перу Климента устанавливается на основании авторской подписи в акrostихе¹, включают: 1. цикл трипеснцев на предпразднество Рождества Христова; 2. канон прп. Евфимию Великому (его переработка – канон Иоакиму Осоговскому); 3. канон на Положение ризы и пояса Богородицы; 4. цикл общих служб святым [4. С. 175–210] и канон на Успение [8; 9]². Как видно из перечисления, эти принадлежащие к одному жанру произведения посвящены разным, достаточно далеким друг от друга "темам". И хотя празднуемое

Мошкова Людмила Владимировна – научный сотрудник Института теории образования и педагогики РАО.

¹ О разных вариантах подписи см. ниже при анализе отдельных произведений.

² Поскольку авторство Климента для других произведений (как канонов, так и отдельных песнопений) предположительно [4. С. 118–120, 145–151], в статье они не рассматриваются.

событие (господский или богородичный праздник или день памяти святого) определяет содержание гимнографического произведения, но логично предположить, что авторский стиль Климента проявился в каждом из них³.

Слависты, изучающие сочинения Климента Охридского, естественно, так или иначе затрагивают вопрос о его авторском стиле, но при этом гораздо больше внимания по сравнению с гимнографическими произведениями [4. С. 118, 121–122, 143–144] они уделяют ораторской прозе Климента (см. [4. С. 52–106; 10]). Очевидно, что композиционное построение текста более наглядно проступает в словах и поучениях, позволяя исследователям анализировать эти особенности. Поэтому композиция, приемы членения текста, а также отчасти системы образов и тем в ораторской прозе Климента раскрыты достаточно убедительно [4. С. 77–90; 10. С. 71–95, 104–110]. Но в отношении гимнографических произведений этого автора чаще говорится о языково-стилистических средствах: эпитетах, сравнениях и метафорах, а также регулярно отмечается приверженность Климента к словам, группирующимся вокруг значений "свет, сияние, блеск" (см., напр. [4. С. 118, 143–144]).

Отрицать плодотворность такого подхода невозможно, однако, являясь сугубо лингвистическим, он не позволяет обращать должного внимания на содержание отдельных песнопений и канонов в целом⁴. Поэтому настоящая работа построена исключительно на анализе содержания каждого отдельного канона в связи с его структурой, подобно тому, как была проанализирована служба первоучителю Мефодию [7. С. 5–11]⁵. Выбор для анализа именно канона при "отсечении" стихир и других песнопений на данном этапе оправдан: канон как сложное по структуре произведение, состоящее из отдельных песнопений, дает намного больше материала для анализа⁶. Порядок, в котором они будут рассматриваться, определен празднуемым событием: господские и богородичные праздники, затем памяти отдельных святых.

Трипесницы на предпразднество Рождества Христова [4. С. 160–169]. Цикл включает шесть трипеснцев 1–6 гласов, при этом "номер" первой песни и глас совпадают, далее следуют 8 и 9-я песни⁷ (например: 1 гл.: 1, 8, 9 п.; 5 гл.: 5, 8, 9 п.)⁸. Каждая песнь включает, как правило, ирмос и три тропаря. Богородичны присутствуют далеко не в каждой песни⁹. Вероятно, это в первую очередь объясняется тем, что обычно песнь состоит из четырех тропарей, последний из которых – богородичен, поэтому при

³ Автор придерживается достаточно широкого определения понятия "авторский стиль", включая в него не только языково-стилистические средства, но и приемы построения (организации) текста, приверженность к определенным темам, системе образов, сравнений и пр.

⁴ Нельзя сказать, чтобы исследователи совсем не говорили о содержании гимнографических произведений – так, Г. Попов раскрывает его для большинства триодных произведений Константина Преславского; подобные наблюдения есть и в других работах (см., напр. [11]).

⁵ Аналогичный подход применен Е.В. Ухановой при анализе канона на Перенесение мощей свт. Климента [12], однако в ее статье есть существенная методологическая ошибка: анализ проводится с ориентировкой на заранее заданный результат – произведение приписывается неизвестному русскому автору конца X в.

⁶ Дополнительным аргументом может быть и то, что исследователи пока не пришли к единому мнению в отношении авторства Климента для стихир и других песнопений службы, не входящих непосредственно в канон.

⁷ Этот же прием применен Константином Преславским в "именном" трипеснице 1-го гласа на предпразднество Успения [6. С. 21–26].

⁸ Здесь и далее для обозначения того или иного песнопения в скобках при перечислении, а также в таблицах употребляются следующие сокращения: бог. – богородичен; гл. – глас; и. – ирмос; п. – песнь/песни; т. – тропарь/тропари.

⁹ Как богородичны, в рукописи обозначены особым знаком следующие песнопения: 3 т. 8 п. 1 гл., 3 т. 8 п. 3 гл., 3 т. 9 п. 3 гл., 3 т. 8 п. 6 гл., 3 т. 9 п. 6 гл. В этом примере хотелось бы видеть некоторую "симметрию": номера песен совпадают именно в 1, 3 и 6 гласах. Но в связи с этим нужно высказать следующее опасение: не склонен ли автор статьи видеть больше закономерностей, чем реально есть в тексте, поскольку заранее ориентирован на их поиск?

сокращении числа тропарей до трех это правило могло, весьма возможно, не столь последовательно выдерживаться¹⁰.

Акростих, включающий имя автора, читается по всем тропарям, за исключением 3-го тропаря 9-й песни 1-го гласа и с небольшими, почти неизбежными исправлениями выглядит как: **"КЛИМЕНТА ПАСНИ ПРЯДПРАЗДНА ХРСТОВОУ РОЗЕТ(В)ОУ ТРИПАСННА ОСМОГО"** [4. С. 118]. Состав акростиха свидетельствует о том, что цикл трипеснцев сохранился не полностью (об этом см. [4. С. 118]; однако общее количество песнопений значительно (55 тропарей) и дает большой материал для анализа. Но намного важнее следующий вывод: сохранность акростиха и его размер говорят о том, что все эти песнопения написаны Климентом, поскольку акростих, как скрепа на обороте столбца, удостоверяет их подлинность.

Первый тропарь 1-й песни начинается зачином, обращающим слушателей к празднуемому событию: **"Къ вноелемоу оумь си подвигнѣмь. врт'поу и паслемь поклонити се..."**. Однако дальнейший текст 1-й песни заставляет нас вспомнить "Написание о правой вере", поскольку в нем говорится о догматических вопросах: **"...слово съвезначелно шдоу и дхѣви, волею въ наше к(с)ство бѣ выпльти се"** (1 т. 1 п.), **"...двѣю зачен'шоюу весѣмене. согоуба бѣ и члка въ двѣ к(с)ствѣ"** (3 т. 1 п.)¹¹. Содержание 1-й песни этого трипеснца, а также и некоторых других его песнопений позволяет с некоторой долей условности назвать трипеснец 1-го гласа "догматическим" (ср. [10. С. 10–11]).

Принцип составления трипеснцев требовал от автора начать трипеснец 2-го гласа 2-й песнью "скорби и покаяния", обычно в каноны не входящей. Климент, вероятно, не желая вводить покаянные мотивы в праздничный канон, решил эту проблему следующим образом. Во-первых, он поместил очень краткие тропари и, во-вторых, повторил в них в предельно сжатой форме основные догматические вопросы¹². Поэтому можно сказать, что начало 2-го трипеснца, с одной стороны, "итог", квинт-эссенция уже сказанного, а с другой – последние слова 3-го тропаря являются переходом к иной теме.

Нетрудно заметить, что ирмос 8-й песни 2-го гласа не связан с 8-й библейской песнью, обычно задающей его тему¹³, и воспекает Богородицу. Поскольку большинство тропарей 8 и 9-й песней этого трипеснца посвящены восхвалению Пречистой, то трипеснец 2-го гласа можно назвать "богородичным". Но его последние слова: **"...пеленами же повивает' се. грѣховнык оузы нише прѣтрьзак:-"** (3 т. 9 п.) подводят нас к следующей теме, раскрытой в трипеснце 3-го гласа, связывая и разграничивая 2 и 3-й гласы¹⁴.

Трипеснец 3-го гласа можно назвать "песней обновления", поскольку его основная тема – обновление ветхого Адама и "разрешение Евиной клятвы"¹⁵. Это песнопения

¹⁰ Можно было бы предположить, что Климент решил написать трипеснец не только из трех песен, но и с тремя тропарями в каждой из них. Однако вряд ли такое допущение оправдано: в 8-х песнях 4 и 5-го гласов по четыре тропаря, причем в 5-м гласе в акростих входят начальные буквы всех четырех. Современник и соратник Климента Константин Преславский последовательно написал по четыре тропаря (последний из них – богородичен) в каждой песне трипеснца на предпразднество Успения (см. [6. С. 21–26]).

¹¹ С большой долей уверенности можно говорить, что следующие слова: **"...всѣмгѣнна Х(с)во снитие"** (2 т. 1 п.) содержат явно испорченное чтение, и первое слово надо исправить на **"всѣмгѣн'но"**.

¹² **"Пль(т) весѣмен'ноу бѣ сло(в) прикме(т). шнавл'вен к(с)ство нише: – ядрь не ш(т)стоупль родител'к си. бжне сло(в) весѣмене пльть бываетъ: – Слово съвезначелно шдоу и дхоу. весѣмене въ двѣи выпльти се:-"** (1–3 т. 2 п. 2 гл.).

¹³ В остальных трипеснцах цикла Климент это правило выдерживает.

¹⁴ Конечно, нельзя забывать, что между тропарями двух соседних песней есть ирмос, так или иначе отделяющий их друг от друга, поскольку по содержанию он связан с тропарями достаточно опосредовано.

¹⁵ Мотив очень широко представлен в поучениях и похвальных словах как принадлежащих Клименту Охридскому, так и приписываемых ему исследователями (см., напр. [13. Т. 1. С. 137, 149, 197, 207, 220, 234,

радости, поскольку Рождество Христово "Ѣдемь ѡ(т)врьзе" (2 т. 9 п.), даровав всему человечеству надежду на спасение. Но в его последних двух тропарях можно найти слова, возвращающие нас к началу произведения¹⁶. Тем самым песнопения как бы смыкаются, образуя круг – символ вечности. Кроме этого, можно отметить, что три тропаря содержат 9 песней и по своему размеру равны канону.

Но как бы автору ни хотелось продолжить подобные выкладки, необходимо сказать, что в остальных тропарях преобладающую тему выявить не удалось (хотя отдельные песни могут быть посвящены одной теме¹⁷): здесь переплетаются все три выделенные выше темы, образуя причудливый узор как внутри одного тропаря (и даже тропаря!), так и во всех вместе. Поэтому тропарям 4–6-го гласов наиболее подходит определение "рождественские". Авторский прием, используемый Климентом в тропарях, можно определить как "плетение венка", когда одна тема возникает и развивается, затем появляется вторая, третья, наконец, все они переплетаются вместе.

До сих пор говорилось о структурно-содержательных особенностях тропарей, теперь надо сказать об основных повторяющихся в них темах.

Первое, что необходимо выделить, – вопросы догматического характера, которые с разной степенью "плотности" распределены по всем тропарям. К догматическим с полным правом можно отнести: 1. троичные мотивы (упоминание лиц Св. Троицы); 2. подчеркивание двойственной природы Христа (Бог и человек); 3. мотив воплощения Слова через непорочное зачатие.

В тропарях Климент, называя Христа, употребляет разные имена (Бог, Владыка, Царь, Творец, Слово, Христос, Первозданный). Но по частоте употребления преобладает "Слово" (в четырнадцати тропарях из 55), за ним следует "Христос" (в семи тропарях), Владыка (в шести тропарях). На основе этого можно сказать, что в тропарях Климент трактует Рождество как приход во плоти (воплощение) Бога Слова (Сына). От этого логичен переход к "двум естествам" и непорочному зачатию.

Помимо догматических, все тропарные объединяют: 1. пророческие мотивы; 2. мотивы "обновления" (см. выше при характеристике тропаря 3-го гласа).

Необходимо отметить, что в рождественских песнопениях два главных "действующих лица": Богородица и рождающийся Младенец. Поэтому пророческие мотивы – (прообразовательные свидетельства ветхозаветных пророков о Богородице и рождении Спасителя) в изобилии разбросаны по всем тропарям; но в соответствии с авторским замыслом одни и те же прообразы поворачиваются разными гранями в зависимости от того, на Богородице или Спасителе сделан основной акцент. Так, например, пророчество Гедеона (равно как и другие, наиболее часто встречающиеся у Климента) амбивалентно: руно – это Богородица, дождь – сошедшее Слово. Поэтому акцент меняется в зависимости от того, кому автор посвящает тропарь (ср.: бог. 8 п. 6 гл. и 2 т. 1 п. 1 гл., 1 т. 3 п. 3 гл.).

К авторским приемам Климента можно отнести обращение от 1-го лица единственного или множественного числа¹⁸, связанное с темой моления. Но в праздничных, торжественных тропарях эта тема выражена слабо. За исключением не принадлежащего Клименту ирмоса 3-й песни 3-го гласа с молебным обращением к Вседержителю ("въ любви си оутвърде ме(н)"), только в 3-м тропаре 8-й песни 2-го гласа автор обращается к Богородице с просьбой "раз(д)рери млю ти се роукописаник моухъ съблазнен".

312, 327, 353, 413, 468 и др.). В. Велинова считает "тематический модуль" о догмате милосердия и человеколюбия Божия чрезвычайно важным для творчества Климента [10. С. 11].

¹⁶ Наиболее показательны начальные слова 2-го тропаря 9-й песни "Х(с)ь раж(д)ает' се славнѣтѣ", дословно повторяющие первые слова ирмоса 1-й песни 1-го гласа [4. С. 164, 160].

¹⁷ Отчасти 8-я и вся 9-я песни 5-го гласа – "пророческие", 9-я песня 6-го гласа – "богородичная".

¹⁸ В культурной парадигме IX в. этот прием может быть назван "авторским", хотя был распространен и в греческой гимнографии.

Канон на Положение ризы и пояса Богородицы [4. С. 183–188] по составу традиционен¹⁹. В его начале мы встречаем зачин (вступление), который, переключаясь с первыми словами ирмоса этой песни, обращает внимание слушателей к празднуемому событию: "Разъврѣзи оуст(н)ѣ ми свѣтодавца помѣлѣщи прѣчи(с)ѣ вл(д)це." (1 т. 1 п.). Сходный прием уже был отмечен в трипеснях на предпразднество Рождества. Акrostих-подпись КЛИМЕНТ проходит по тропарям 8–9-й песней, причем ирмосы и тропари этих песней немного больше по объему, чем остальные²⁰. Но если традиционная структура этого канона и форма подписи не вызывают никаких сомнений, то в целом произведение ставит перед исследователями многочисленные вопросы.

Необходимо отметить, что православная церковь в настоящее время отмечает два разных праздника: Положение ризы Богородицы во Влахерне (2 июля) и Положение пояса Богородицы в Халкопратии (31 августа). Появление в каноне упоминания и ризы, и пояса, как верно заметил Г. Попов, может объясняться только установившейся практикой использования для двух дат одних и те же песнопений [4. С. 133]. Однако если совместное упоминание в каноне ризы и пояса тем самым получает объяснение, то присутствие песнопений Успения объяснить не так просто. Вероятно, полемика со своим оппонентом Б. Шаламановым не позволила Г. Попову подробно осветить этот вопрос, ограничившись предположением, что эта особенность канона может указывать на то, что он создан в процессе широкой переводческой и литературной деятельности вместе с написанием гимнографического цикла на Успение [4. С. 134]²¹. Данное объяснение невозможно признать убедительным в первую очередь потому, что трудно предположить, чтобы такой автор как Климент написал тематически "неопределенное" произведение, смешав даже не два, а три богородичных праздника²².

Все тропари канона по содержанию можно разделить на три группы с упоминанием: 1. ризы и пояса; 2. Успения (подразделяются на два вида: прямое (прямо.) и косвенное (косв.) упоминание) и 3. нейтральные, в которых нет упоминания определенного праздника. Для наглядности представим это разделение в табл. 1.

Таблица 1

| | Риза и пояс | Успение | | Нейтральный | Действия, относящиеся к ризе и поясу ¹ |
|-----------|-------------|---------|-------|-------------|---|
| | | прямо. | косв. | | |
| 1 п. 1 т. | | + | | | |
| 2 т. | | + | | | |
| 3 т. | | + | | | |
| 4 т. | + | | | | поклониться |

¹⁹ Канон 4-го гласа включает 1, 3–9-ю песни, содержащие по три-четыре тропаря. Применительно к этому произведению употребление термина "богородичен" для последнего в песни тропаря некорректно, поскольку все песнопения канона посвящены Богородице.

²⁰ Возможно, это свидетельствует и о том, что Климент старался соблюсти следующее правило: "В тропаре должно быть столько же строф и такой же длины и столько же музыкальных строк, как в ирмосе" [14. Вып. II. С. 266].

²¹ В отношении мнения Б. Шаламанова [15. № 3. С. 63–64] о написании Климентом службы на Положение ризы и пояса Г. Попов занял выжидательную позицию: он считает, что это можно установить только проведя текстологический анализ всех рукописных источников, как греческих, так и славянских [4. С. 132]. Возможно, знакомство со списком службы в рукописи Хлуд.166 позволило бы крупному исследователю гимнографии скорректировать и уточнить свои положения.

²² Если упоминание Успения еще как-то можно объяснить в каноне на Положение пояса (празднуется через две недели после Успения), то в каноне на Положение ризы (почти на полтора месяца ранее Успения) это, на наш взгляд, неуместно.

| | Риза и пояс | Успение | | Нейтральный | Действия, относящиеся к ризе и поясу ¹ |
|-------------------|-------------|---------|-------|-------------|---|
| | | прям. | косв. | | |
| 3 п. 1 т. | + | | | | поклонимся на поклонение... еюже окрылящи |
| 2 т. | + | | | | |
| 3 т. | | | | + | |
| 4 т. | | | + | | |
| 4 п. 1 т. | | + | | | остави |
| 2 т. ² | | + | | | |
| 3 т. | + | | + | | |
| 4 т. | | | | + | |
| 5 п. 1 т. | + | | | | покланеемся оставляши, еяже окрили ны |
| 2 т. | + | | + | | |
| 3 т. | | | | + | |
| 6 п. 1 т. | | | | + | |
| 2 т. | | | | + | |
| 3 т. | | | | + | |
| 4 т. | | | | + | |
| 7 п. 1 т. | | + | | | кланеемся |
| 2 т. | | + | | | |
| 3 т. | + | | + | | |
| 4 т. | | + | | | |
| 8 п. 1 т. | | | | + | |
| 2 т. | | + | | | |
| 3 т. | | + | | | |
| 4 т. | | | | + | |
| 9 п. 1 т. | | | | + | окрили мя... еюже остави |
| 2 т. | риза | | | | |
| 3 т. | | | | + | |

¹ Здесь и далее в подобных случаях цитаты даны в упрощенной орфографии.

² В списке Хлуд.166 этот тропарь отсутствует.

Приведенные данные позволяют сделать несколько важных выводов.

1. Прямое упоминание Успения как празднуемого события сосредоточено в 1, 4, 7 и 8-й песнях канона (десять тропарей).

2. Обращение к ризе и поясу по два раза встречается в 3 и 5-й песнях, по одному – в 1, 4, 7 и 9-й (в последней только риза) песнях (восемь тропарей).

3. Лексика, описывающая действия, относящиеся к ризе и поясу, – нейтральна, на ее основе нельзя выяснить, "пояс" или "риза" присутствовали в первоначальном тексте, как нельзя отрицать и того, что обе святыни исходно упоминались вместе.

4. В 6-й песни не упоминается ни один праздник, все тропари нейтральны и говорят о прообразовательных свидетельствах и догматических вопросах.

5. В песнях, контролируемых акростихом, упоминаются: два раза Успение и один раз только риза.

В связи с этим хотелось бы задать следующие вопросы. Почему в каноне на Положение ризы и пояса чаще упоминается Успение? Как Климент смог написать канон, в котором празднуемое событие в подписных песнопениях упоминается единожды, а во второй половине канона – только два (!) раза? Для сравнения можно отметить, что в каноне на Успение празднуемое событие упоминается в двадцати одном (!) из двадцати четырех тропарей.

Однако, по верному замечанию Г. Попова, канон по стилю и "общему звучанию" напоминает другие произведения этого автора [4. С. 134]. Более того, ряд формальных

признаков также указывает на это. В 1-м тропаре 1-й песни автор обращается к Богородице от первого лица. Подобный прием характерен для канонов общих и канона прп. Евфимию Великому. Увеличение размеров тропарей в песнях, контролируемых акростихом, также можно найти в общих канонах. Первые два тропаря 6-й песни – "пророческие", в каноне на Успение "пророческой" может быть названа отчасти 4-я и вся 5-я песнь. В каноне на Положение ризы и пояса сильно молебное начало, очень четко прослеживаемое в канонах общих; число обращений в каноне на Положение ризы и пояса – четырнадцать – сопоставимо только с каноном мученику, который вполне может быть назван "молебным".

Казалось бы, эти совпадения с общими службами позволяют предположить, что канон на Положение ризы и пояса – переработанный канон общий (молебный?) Богородице. Однако здесь возникает трудность в объяснении механизма его переработки, результатом которой стало смешение трех праздников.

Следовательно, надо попытаться объяснить это смешение, не прибегая к спекуляциям, требующим ряда допущений, а исходя из самого текста. И единственное, на мой взгляд, объяснение, снимающее это противоречие, заключается в следующем: Климент имеет в виду погребальные одежды Богоматери. Тем самым становятся ясны слова: "въ гробъ нѣтъ приицнаще. и не ѡбрѣтше тѣлесе. нъ ризѣ и поясу до(с)ино поклоним(сѧ)" (1 т. 3 п.).

По свидетельству патриарха Никифора, во Влахернах существовали два храма, в которых хранились одежды Богоматери [16. С. 245]. В одном, построенном Маркианом и Пульхерией (450–457), положены были погребальные одежды Богоматери, присланные патриархом иерусалимским Ювеналием; в другом, построенном императором Львом (457–474), – одежда, принесенная Галвином и Кандидом [16. С. 245]. Архиепископ Сергий (Спасский) считает, что было решено возвести праздник Положения ризы в великие в 860 г. (отступление русов под предводительством Аскольда и Дира от Царьграда). Празднование в честь пояса Богоматери было, по его мнению, "усугублено" спустя 500 лет после его положения по случаю исцеления императрицы Зои, супруги Льва VI (889–912) [16. С. 245, 248].

Г. Попов отмечает, что греческие каноны, положенные на 2 июля и 31 августа, написаны: Иосифом Песнописцем (умер в 883 г.) и Георгием Никомидийским, творившим во второй половине IX в. [4. С. 131]. То есть мы видим, что именно во время жизни Климента в Константинополе происходили события, которые могли повлиять на некоторое изменение в характере праздников. Из этого следует только одно предположение: Климент Охридский отразил более древнюю традицию почитания именно погребальных одежды Богоматери, и первоначально в тексте упоминалась "риза" (т.е. "одежда"²³), которая и осталась во 2-м тропаре 9-й песни.

Канон на Успение Богородицы²⁴. В рукописи Хлуд.156 служба приурочена к предпразднеству [8. Л. 284 г], однако в другом списке – Хлуд.166 – к самому празднику [9. Л. 157об.].

Вначале хотелось бы высказать предположение о некоторых закономерностях "порчи" текста. Свои каноны на богородичные праздники Климент писал на глас греческого канона, положенного в этот день. Более того, часто он использовал примерно те же ирмосы. При отдельном написании двух канонов (канон Климента мог помещаться как первым, так и вторым в службе) перенесение или исключение одного из них проходило безболезненно. Но при слитном их написании, тем более при совпадении ирмосов, переписчики могли, разделяя каноны, допускать ошибки и переносить

²³ В "Материалах для словаря древнерусского языка" И.И. Срезневского первое значение слова риза именно "одежда", оно употребляется (как собирательный термин) для перевода нескольких греческих слов; более того, в Остромировом Евангелии словом риза обозначено покрывало, саван [17].

²⁴ Этому произведению будет посвящена специальная работа с публикацией текста.

тропари не в тот канон²⁵. Существовал также и другой способ устранения "избыточного" гимнографического материала: редактор мог, выбрав отдельные песнопения, из двух канонов сделать одно произведение, что видно на примере канона прп. Евфимию Великому и ряда других. Разделение (отделение) славянских канонов от переводных могло произойти в результате "справы", сравнения с греческими рукописями. И здесь редактор мог выбирать: исключить славянский канон целиком или перенести его на другой день (но это возможно только для больших праздников, имеющих предпразднество и попразднество). Именно так поступили с каноном Климента Охридского на Успение, поместив его на предпразднество. Поэтому, хотя в настоящей статье за основу берется первый из двух упомянутых списков, анализируемый канон будет называться канон на Успение.

Это произведение также достаточно традиционно по составу: во всех песнях канона 4-го гласа по три тропаря (исключение составляет 9-я песнь: в ней четыре тропаря). Акrostих читается в последней песни (в списке Хлуд.156 пропущен 3-й тропарь, который восстанавливается по Хлуд.166): **КЛИМ**.

Начинается канон призывом радоваться **"Веселите(с) нѣбса"** (1 т. 1 п.). Этот же мотив присутствует во всех тропарях 1-й песни и 1-м тропаре 3-й песни. То есть Климент представляет праздник слушателям как радостное событие: Богородица оставляет земной мир и восходит на небеса, это не столько *успение*, сколько *преставление* (кстати, именно это слово употребляется в каноне намного чаще), которым приходят **"ω(т) смръти къ животоу"** (2 т. 9 п.). В первых тропарях описывается празднуемое событие, а во 2-м тропаре 3-й песни автор напоминает слушателям о воспитании Богородицы в храме. Первый тропарь 4-й песни тематически связан с 1 и 3-й песнями, но два следующих начинают другую тему – "пророческую". Второй и третий тропари 4-й песни и 1–3-й тропари 5-й песни с полным основанием можно назвать "пророческими", поскольку в них вспоминаются Давид, Иаков, Моисей, Аарон, Даниил, известные своими прообразовательными свидетельствами²⁶. В следующих, 6–9-й, песнях слушателей возвращают к празднуемому событию, но здесь же возникает и другой мотив – обращение к Богородице с просьбой о заступничестве, покровительстве (последние тропари 7–9-й песней).

В этом каноне, как и в большинстве гимнографических произведений Климента Охридского, присутствуют догматические мотивы, но они подчинены основной теме и повествуют о непорочном зачатии и рождении Бога. Особенно "плотно" они помещены в 9-й песни, однако акцент в них смещен с Богоматери на Христа.

Мотив "собирания" апостолов на преставление развит в нескольких тропарях канона²⁷, но во 2-м тропаре 7-й песни он приобретает иное, личное содержание: **"Съвери ни г(с)ж(д)е ω(т) конецъ всѣхъ. гаже дрѣвѣк ап(с)лы си на прѣставѣкникъ събра. не поминающии съгрѣшени нашихъ, ѣдина прѣм(с)тиваа"**. В этой искренней просьбе звучит печаль о рассеянном, но некогда едином круге учеников Кирилла и Мефодия.

Необходимо отметить, что тема молитвы объединяет оба богородичных канона Климента Охридского. Однако только сравнивая их, можно увидеть сходство и различие в ее представлении автором в каждом из канонов.

²⁵ Так случилось с 4-м тропарем 8-й песни канона на Положение ризы и пояса, который был ошибочно помещен среди тропарей канона Иосифа Песнописца [4. С. 129], и со 2-м тропарем 3-й песни канона Иоанна Дамаскина на Успение, который в списке Хлуд.156 включен 3-м тропарем 3-й песни в канон Климента Охридского.

²⁶ Необходимо отметить, что сходное несовпадение структурного (границы песней) и тематического "швов" как авторский прием Климента было характерно и для трипеснцев. Это все тот же принцип "плетения венка", когда следующая тема сплетается с предыдущей, затем "проясняется", чтобы в конце переплестись со следующей. Недаром пророческая тема вновь возникает в 1-м тропаре 9-й песни.

²⁷ Канон на Успение можно назвать "изобразительным", так как его текст заставляет нас вспомнить столь распространенную икону Успения "облачного", где изображены ангелы, несущие апостолов в облаках.

В каноне на Положение ризы и пояса молебное обращение к Богородице можно найти в четырнадцати тропарях, а в каноне на Успение – только в семи. Но хотя в обоих канонах наиболее сильно молебная тема развита в последних двух песнях (по пять тропарей), видно, что в первом из канонов она выражена намного сильнее, равномернее распределяясь по остальным песням (по два тропаря в 1, 5–7-й песнях и один тропарь в 4-й песни).

В каноне на Успение автор обращается к Богородице только от 1-го лица множественного числа, тогда как в другом каноне соотношение "личных" и "коллективных" просьб семь к девяти (в двух тропарях Климент употребляет формы как единственного, так и множественного числа). На основе этого можно предположить, что Успение трактуется и воспевается автором как более торжественное событие, в то время как второй праздник имеет для него более камерный, "личный" характер.

Суть просьб в обоих канонах сходна: это в первую очередь моление о заступничестве, покровительстве и избавлении от грехов. Но в 4-м тропаре 6-й песни канона на Положение ризы и пояса говорится о победе над врагами, что заставляет вспомнить аналогичные просьбы, звучащие в каноне общем святителю (см. ниже).

Канон прп. Евфимию Великому [4. С. 171–174]. 8-го гласа включает 1, 3–9-ю песни, содержащие три-четыре тропаря, последний из которых богородичен²⁸. Акrostих проходит по тропарям 1, 2–4 и 9-й песней: **"СВЯТ ПОУССТИН... КЛИМ"**. В середине канона акrostих разрушен из-за того, что ирмосы и первые два тропаря 5–7-й песней взяты из переводного греческого канона того же гласа, написанного Феофаном Начертанным [4. С. 125]²⁹. Для остальных тропарей этих песней и 8-й песни в целом греческих соответствий не найдено [4. С. 125].

Разрушение акrostиха и включение "инородных" песнопений заставляет исключить из анализа тропари, попавшие в Климентов канон из канона Феофана, а все остальные песнопения (как контролируемые акrostихом, так и нет) рассматривать вместе.

Канон святому по содержанию резко отличается от канонов на господские и богородичные праздники. Само празднуемое событие задает определенные рамки, требуя следования "стилю эпохи" и законам жанра.

Совершенно очевидно, что выделенные выше догматические мотивы могли содержаться (и содержатся) только в богородичнах канона, так как лик святого – преподобнический – не предполагает ни учительной, ни апостольской миссии. Достаточно тесно связанный в трипеснях с догматическими, мотив "обновления" в каноне Евфимию полностью отсутствует, так как последний посвящен прославлению конкретного святого, а не господского праздника. "Пророческие" мотивы также не получили развития в этом произведении³⁰, во многом, вероятно, из-за авторской трактовки образа Богородицы: здесь она выступает как заступница, защитница людей.

Но восхваление подвига преподобного требовало включения сведений (пусть самых общих и диктуемых законом жанра) о его земной жизни. Эти сведения мы находим в 1, 3 и 8-й песнях. Но Климентом, вслед за греческими гимнографами³¹, развито и совершенно конкретное свидетельство Жития прп. Евфимия: святой родился от бесплодной матери [4. С. 125–126]. Это дает повод авторам канонов уподоблять Евфимию Самуилу и Иоанну Предтече [4. С. 125–126]. Но надо отметить следующее: в песнопениях, контролируемых акrostихом, а также в 8-й песни канона

²⁸ Два из них (7 п., 9 п.) в рукописи особым знаком не отмечены и определяются по содержанию.

²⁹ О возможном механизме такого смешения см. выше.

³⁰ Исключение составляет богородичен 3-й песни, в котором Богородица уподобляется двери, но без ссылки на пророка Иезекииля.

³¹ Г. Попов пишет о почти буквальных заимствованиях из канона Феофана Начертанного [4. С. 127].

Климента Охридского столь часто употребляются слова "пустыня" (кстати, вошедшее в акrostих), "пустынный", "пустынный", что можно говорить о "втором действующем лице" в каноне. Но пустыня здесь не только (и не столько) конкретное место, где подвизался святой, но глубокая метафора: прп. Евфимий – лоза, процветшая в пустыне, не только по месту подвига, но и по обстоятельствам рождения³². Вероятно, законы жанра позволили шире использовать Клименту такой прием, как обращение от первого лица к Евфимию (1 т. 1 п., 3 т. 7 п., 1 т. 8 п.) и Богородице (бог. 5 п., бог. 9 п.) (сравнение канона прп. Евфимию с каноном общим преподобному см. ниже).

Цикл общих служб святым [4. С. 189–210]. В цикл входят шесть служб различным ликам святых. Издатель памятника, Г. Попов, не подвергает сомнению принадлежность перу Климента стихир перед канонами и седальнов, помещенных в некоторых службах после 6-й песни [4. С. 135–144]. Но поскольку в настоящей работе анализируются только каноны, то стихиры (но не седальны, входящие в канон) из анализа исключаются.

Основное отличие общих канонов от уже рассмотренных произведений Климента Охридского состоит в том, что согласно своему назначению они восхваляют не *конкретного святого*, но *определенный подвиг*. Все эти каноны имеют сходные темы, например житийную, так как всегда говорится несколько, пусть самых общих, слов о земной жизни святого, а также молебную – святой всегда посредник между Богом и людьми.

Обращение в первом тропаре канонов к святому от 1-го лица, которое есть в большинстве из них, можно трактовать как зачин, призванный обратить *каждого* слушателя к празднуемому событию, преобразуя обращение автора канона в *личное* обращение молящегося.

Канон общих пророкам [4. С. 189–193] 6-го гласа состоит из восьми песней, в каждой из которых по четыре тропаря, включая богородичен. После 6-й песни помещен седален. Акrostих **КЛ** читается в последниѣ двух тропарях 9-й песни.

В каноне можно выделить несколько тем, преобладающих в разных песнях. Так, в 1–3-м тропаре 1-й песни и 1-м тропаре 3-й песни говорится о ниспослании духовной благодати пророчествовать, т.е. об избрании Богом своего пророка³³. Но основная тема 3-й песни – проповедь *воплощения* Христа – связана с предыдущей песнью и через богородичен, повествующий об избрании Богородицы³⁴. Четвертая песнь говорит о прозрении и провозвещении пророком Божия *пришествия*. Остальные песни канона не имеют достаточно выраженной общей темы; это уже упоминавшийся веноч похвал, темы в котором переплетены.

На первый взгляд может показаться удивительным, что в каноне пророкам Климент не раскрыл в богородичнах темы прообразовательных свидетельств, – прием достаточно частый в его гимнографических произведениях. Однако этот шаг глубоко оправдан самим назначением службы: упоминание конкретных пророков (особенно с указанием имени) в общем каноне было бы неуместно.

Все каноны, вошедшие в состав цикла, объединяет общая тема, с разной силой выраженная в каждом из них, – тема *моления*. Для наглядности представим отражение этой темы в каноне пророку в табл. 2³⁵.

³² Ср., например: "из неплоднѣ ложенѣ. поустыни прозвава намѣ" (1 т. 8 п.), "и мѣже възвесела поустына вешадны. ако кринѣ процвитаа" (2 т. 9 п.).

³³ О "теме благодати" в похвальных словах Климента Охридского см.: [10. С. 84–85].

³⁴ Ср. прим. 29 о несовпадении структурного "шва" с тематическим.

³⁵ Молебное обращение может быть адресовано: Богу, Богородице или празднуемому святому. При этом к Богородице и святому Климент обращается или с просьбой о молитвенном заступничестве перед Богом, или непосредственно; форма обращения – от 1-го лица единственного или множественного числа. Но столь дробное деление нецелесообразно, так как затрудняет понимание представленного материала.

| Обращение | | | | Просьба |
|-----------|--------------|----------------|----------------|--|
| к пророку | к Богородице | Е ¹ | М ² | |
| 1 т. 1 п. | | + | | греховный мрак отжени мольбами ти... просвети мя молися Христу за ны избавити от бед моли... послати нам... велию милость |
| сед. | бог. 7 п. | | + | |
| 3 т. 8 п. | | + | | к Христу моляся страстии моих мьгу и напасти вся потребляя зарю дховною испрошь просвети молися от бед и страстии всех и недуг избавитися... нам |
| 1 т. 9 п. | | | + | |
| 3 т. 9 п. | | | + | моли от беды всякая избавитися нам |
| | бог. 9 п. | | + | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |

¹ Здесь и далее Е – обращение от 1-го лица ед. числа.

² Здесь и далее М – обращение от 1-го лица мн. числа.

Здесь хотелось бы сказать о наблюдении, отрицать которое нельзя, но пользоваться которым можно с осторожностью. Все тропари 9-й песни (в двух из них – авторская подпись) немного больше по объему "стандартного" тропаря канона³⁶. Помимо следования принципу соответствия тропарей ирмосу (см. выше), это можно попытаться объяснить через проявление в этих тропарях авторского начала, что заставляло Климента украшать и усложнять текст, который в результате увеличивался в объеме.

Канон общий апостолам [4. С. 193–197] 4-го гласа состоит из восьми песней, в каждой из которых по четыре тропаря, включая богородичен. После 6-й песни помещен седален. Авторской подписи нет, но богородичен 9-й песни начинается словом **Лоуча-ми**. Тропари этой песни больше стандартного объема тропарей канона, поэтому можно предположить, что первоначально в последней песни был акростих, аналогичный помещенному в каноне пророкам – **КЛ**. Этому не противоречит начало 3-го тропаря **Престолюу престога**: достаточно только допустить, что первоначально он начинался **К престолюу престога** и только в процессе переписывания обрел настоящий вид.

Интересен подбор ирмосов в данном каноне: часть их аналогична ирмосам канонов Климента на Успение и Положение ризы и пояса³⁷. Некоторые из этих ирмосов (например 1 и 3-й песней) весьма опосредованно связаны с темами соответствующих библейских песней и подходят скорее для богородичного канона.

В 1-й песни канона, как и в каноне пророкам, говорится о призвании (избрании) апостола на служение³⁸. 3–7-я песни – описание подвига апостола, причем в 4-й сделан акцент на просвещении "языков", которые уподобляются рыбам, пойманым в сети: «...языкы яко рыбы. въ вѣроу оуловивъ» (2 т. 4 п.). Восьмая песнь может быть названа мученической по основной теме, развиваемой в ней. Последняя песнь – молебная. Но эта же тема развита и в других песнях (см. табл. 3).

³⁶ Выше аналогичное наблюдение сделано в отношении тропарей канона на Положение ризы и пояса.

³⁷ Ирмосы 4-го гласа, с использованием которых написаны два богородичных канона Климента, с некоторыми незначительными вариациями можно найти в канонах на Введение во храм (со славянским акростихом) и Благовещение.

³⁸ Интересно отметить, что богородичен этой песни – крестобогородичен.

| Обращение | | | | Просьба |
|------------------------|--------------|---|---|---|
| к апостолу | к Богородице | Е | М | |
| 1 т. 1 п. ¹ | | + | | просвети мя, греховный мрак отгнав не да же мене бесом в радость ...избави твоими молитвами |
| | бог. 3 п. | + | | |
| 1 т. 5 п. | | | + | о нас молися |
| 2 т. 5 п. | | + | | стадо си сохраняи... светлость ми озарян и ум ми просвети |
| 1 т. 6 п. | | | + | молися о творящих ти память омраченное сердце... |
| сед. | бог. 6 п. | + | | просвети... твоими молитвами испроси очищение... о десную страну нас сподоби... к Христу молися о нас... да принем прощение грехов |
| | бог. 7 п. | + | | ти ся молю... ми ся прегрешени избави |
| 1 т. 9 п. | | | + | избави от греха рабы своя страстьми одержима мя и |
| 2 т. 9 п. | | + | | греховными съблзны... избави от них молитвами и мольбами сохраняи |
| 3 т. 9 п. | | | + | ...творящая... ти память душу мою ныне просвети лежащую в ровех погыбельных |
| | бог. 9 п. | + | | |
| 8 | 4 | 7 | 5 | |

¹ Обращение не к апостолу, а к Богу.

Канон отцам (святителям) общий [4. С. 197–200] 8-го гласа состоит из восьми песней, в большинстве из которых четыре тропаря, включая богородичен; в 6 и 9-й песнях богородичнов нет. Седален помещен после 6-й песни. Акростих **КЛИМЕНТ** читается по началам тропарей 8–9-й песней (эти тропари больше по объему).

Все песни канона посвящены восхвалению святителя, но в них очень сильно (сильнее, чем в уже рассмотренных канонах) представлена тема моления. Но прежде чем перейти к ее рассмотрению, хотелось бы сказать о 4-й песни, которая вся посвящена описанию учительного подвига святителя. Ее тропари, как и тропари 8–9-й песней, больше по объему. Но не столько это, сколько ее содержание (говорится о святительской деятельности в *новопросвещаемой* стране) и, главное, личное чувство, отразившееся в ней, заставляют предположить, что в этой песни Климент говорит о совершенно конкретном человеке, чей образ он зримо представлял при создании канона. Конечно, этим святителем мог быть только первоучитель Мефодий.

Возможно, именно это и было причиной увеличения числа молитвенных обращений в каноне, который вполне может быть назван "молебным".

Выводы, сделанные на основе данных, представленных в табл. 4, будут приведены ниже, вместе с анализом молебной темы всех общих канонов.

Таблица 4

| Обращение | | | | Просьба |
|------------------------|--------------|---|---|--|
| к святителю | к Богородице | Е | М | |
| 1 т. 1 п. ¹ | | + | | мрак греховный отжени... мольбами преподобнаго ти служителя Христа моли спастися нам |
| | бог. 1 п. | | + | |
| 2 т. 3 п. | | | + | за ны молися |

| Обращение | | | | Просьба |
|-------------|--------------|---|----|--|
| к святителю | к Богородице | Е | М | |
| 3 т. 3 п. | | | + | моляся за ны избави от грех и всякоя напасти |
| 3 т. 5 п. | бог. 3 п. | + | + | ты мя утверди в любви твоеи |
| | бог. 5 п. | | + | за ны моли... от напасти и бед избави ны |
| 2 т. 6 п. | | | + | помолися... послати нам... велию милость |
| 3 т. 6 п. | | | + | за весь мир... помолися брань ...потребити и победу... |
| | бог. 7 п. | | + | подати на супостаты князю нашему молися умирити всю вселеную и низложити дързость поганьскую |
| 1 т. 8 п. | | | + | яко мати... умоли нам спастися |
| 2 т. 8 п. | | | + | помолися... грехов свободитися |
| | бог. 8 п. | + | + | молися да избудем от грех и находа и брани противных |
| 2 т. 9 п. | | | + | страстии моих съзузы... и недугы отжени за ны... молися |
| 9 | 5 | 3 | 11 | |

¹ Обращение не к святителю, а к Богу.

Тема канона определила наличие в нем троичных мотивов, а также некоторых образов, столь характерных для гимнографии Климента.

Канон общий преподобным [4. С. 201–204] 2-го гласа включает восемь песней, в каждой из которых четыре тропаря вместе с богородичном. После 6-й песни – седален. Первая песнь, как и в канонах пророку и апостолу, – песнь "избрания", которое трактуется автором как получение божественной благодати. Во всех остальных песнях воспевается подвижническая жизнь святого. Интересно отметить, что 3-й тропарь 9-й песни – троичен, но с обращением от 1-го лица («**Единомоу кетствоу кланю с.а. трн лица пою**»), так как исповедание Троицы скорее особенность святительского подвига, а не преподобнического.

Этот канон имеет одну особенность, которой лишены все остальные гимнографические произведения Климента Охридского: здесь Климент использовал в некоторых тропарях анафоры, разбивающие текст на отдельные отрывки. Так, в богородичне 5-й песни троекратная анафора "радуйся" заставляет вспомнить акафист. В 1-м тропаре 8-й песни три смысловых отрывка начинаются с предлога "на" («**На неразори.моую жизнь. на нѣоу.ва.да.к.моую пищу... на невечернии свѣтъ....**»). Во 2-ом тропаре этой же песни перечисление также введено анафорой («**Пако слоуга Х(с)въ. пако слоужитель вѣрнъ. пако стронитель вѣрнъ. пако безъблазна наставникъ**»). Это напоминает похвальные слова Климента, анафорические приемы в которых он широко применял [4. С. 94–97]. Но это свидетельствует также и о том, что канон преподобному скорее может быть назван "похвальным", так как молебные мотивы в нем представлены слабо (см. табл. 5).

| Обращение | | | | Просьба |
|----------------|--------------|---|---|--|
| к преподобному | к Богородице | Е | М | |
| сед. | | | + | моли... грехов оста... |
| | бог. 8 п. | | + | отъверзи толкущим нам |
| 2 т. 9 п. | | | + | помолися... спаситя нам и напасти и тревълнение и буря и бед и страсти |
| 2 | 1 | - | 3 | |

Малое число молебных обращений к преподобному, возможно, косвенно свидетельствует о его "ранге": известно, что пантеон христианских святых был строго иерархизирован и преподобнический лик – один из наиболее поздних – занимал "низшую" ступень.

Однако, если мы сравним канон общий преподобному с каноном прп. Евфимию Великому (конкретному преподобному), то увидим, что Климент нарушает свои же нормы. Во-первых, он пишет канон 8-го гласа и употребляет ирмосы канона мученику. Число молебных обращений резко возрастает, по количеству приближаясь к канону апостолу. Единственное, что остается практически неизменным – общий характер просьб, большинство из которых от 1-го лица мн. числа.

Канон общий мученики 8-го гласа издан по дефектному списку [4. С. 204–208]: утрачен текст, начиная с середины богородична 1-й песни до начала 2-го тропаря 4-й песни. В сохранившихся песнях по четыре тропаря, последний из которых богородичен. Седальна нет.

В 3-м тропаре 4-й песни слова «Прѣдстои въ славѣ бни на нѣси. съ ан҃глы» прямо указывают место мученика в небесной иерархии. Вероятно, именно в этом причина увеличения числа молебных обращений к святому в каноне (ср. выше с каноном преподобному) (табл. 6).

Таблица 6

| Обращение | | | | Просьба |
|------------|--------------|---|---|---|
| к мученику | к Богородице | Е | М | |
| 1 т. 1 п. | | | + | омраченную ми душу просвети |
| | бог 1 п. | | + | избавити мя от лют... |
| 3 т. 4 п. | | | + | припасти к Богу отпуста ми просяще |
| 1 т. 5 п. | | | + | бещисльных ми зол |
| 2 т. 5 п. | | | + | просвети мене молю ти ся |
| | бог. 5 п. | | + | страсти сердца моего ицели молю ти ся |
| 1 т. 6 п. | | | + | не презри молимся |
| | | | + | веньця небесныя егоже сподѣи нас твоими молитвами |
| 2 т. 6 п. | | | + | славе... еиже сподоби твоими молитвами |
| 3 т. 6 п. | | | + | молитвами си защити избави нас от страсти наших |
| | бог. 6 п. | | + | да избудьм от лют прегрешении молением ти |
| 2 т. 7 п. | | | + | испроси... оставльние грехѣв |
| 1 т. 8 п. | | | + | душевныя моя страсти... |
| | | | | исцели |
| 2 т. 8 п. | | | + | за нас молитися... прияти избавление грехѣв |

| Обращение | | | | Просьба |
|------------------------|--------------|---|----|---|
| к мученику | к Богородице | Е | М | |
| | бог. 8 п. | | + | не отврати лица си от нас... обрати на радость въздыхание наше моя страсти прожени егоже молитвами си избави Боже от всех грех не презри... моляся за ны |
| 1 т. 9 п. | | + | | |
| 2 т. 9 п. ¹ | | | + | |
| 3 т. 9 п. | бог. 9 п. | + | | не презри... моляся за ны молю ти ся избавити мя от бед и грехи потреби ми |
| 13 | 5 | 8 | 10 | |

¹ Обращение не к мученику, а к Богу.

Необходимо отметить, что тропари 8–9-й песней этого канона больше стандартных тропарей общих канонов (тропари других песней превышают обычный размер весьма незначительно). Но поскольку акростиha в этих песнях нет, данную особенность можно попытаться объяснить через "авторское присутствие": в последних песнях снова появляются обращения от 1-го лица, столь характерные для начала канона и отсутствующие в его середине.

Канон общий мученицам 8-го гласа издан также по неполному списку [4. С. 208–210]. Сохранилось начало до 1-го тропаря 3-й песни, а также текст с конца богородична 4-й песни до начала 3-го тропаря 8-й песни. Песни включают три тропаря; седальна нет.

В 1-м тропаре 1-й песни нет личного авторского обращения (оно смещено на 3-й тропарь), но указано место мученицы в небесной иерархии («...силъ неб(с)ныя. и нынѣ с ними Х(с)ви прѣдъстоиши»).

Тема моления в этом каноне выражена намного слабее, чем в каноне мученику (см. табл. 7).

Таблица 7

| Обращение | | | | Просьба |
|------------------------|--------------|---|---|--|
| к мученице | к Богородице | Е | М | |
| 3 т. 1 п. | | + | | мрак греховныи прожени молюся ...юже нам испроси |
| 3 т. 4 п. | | | + | |
| 1 т. 7 п. | | | + | моли спасти душа наша омыи молю ти ся мою оканьюю душу еяже молитвами просвети нас милосердь |
| 3 т. 7 п. | | + | | |
| 2 т. 8 п. ¹ | | | + | |
| 5 | – | 2 | 3 | |

¹ Обращение не к мученице, а к Богу.

Размер тропарей 8-й песни превышает обычный размер тропаря в этом каноне; последний же из них начинается словом **Кто**. На основе этого весьма формального признака все же можно высказать предположение, что тропари утраченной 9-й песни начинались соответственно с букв Л, И и М, составляя короткую авторскую подпись **КЛИМ**.

Проведенный выше анализ темы моления в общих канонах позволяет сделать несколько выводов.

1. Последовательность служб (за исключением службы преподобным) совпадает с традиционным порядком их размещения в Минеях общих. Однако, помимо этого, службы отражают историческую последовательность деятельности определенных святых (от пророков к апостолам, а далее к святителям). То есть святой как бы "приближается" к нам.

2. "Близость" святого выражается не только в количестве молитвенных обращений к нему (легко заметить как их число растет от канона пророку к канону мученику), но и в приближении молений к началу канона. Если мы отбросим 1-й тропарь 1-й песни, обращение в котором играет роль зачина, а также моление к Богородице – первой заступнице за весь род христианский, то увидим, что в каноне пророку молебные мотивы можно найти в 8 и 9-й песнях; в каноне апостолам – начиная с 5-й, а в каноне святителю – с 3-й.

3. Суть просьб, обращаемых к конкретному святому, со всей очевидностью свидетельствует, что к пророку и апостолу Климент обращается с самыми общими просьбами (см. выше), причем к апостолу чаще от 1-го лица. В каноне святителю содержание и форма просьб резко меняются. Большинство молитвенных обращений идет от "нас", т.е. определенной общности людей, при этом часто просят помощи в борьбе с "супостатами" (во 2 т. 6 п. упоминается "князь наш"). Таким образом, святитель, которому посвящен канон, предстает как защитник земли и патрон государства. Причем, возможно, – это государство, в пределах которого реализовывалась учительная деятельность святителя (см. выше о 4-й песни этого канона). Таким святым мог быть только первоучитель Мефодий, носивший сан архиепископа.

К патрону государства, естественно, более оправдано обращение от лица всех верующих, поэтому в этом каноне преобладает именно форма множественного числа.

Канон мученикам, к сожалению, в издании неполон: отсутствует вся 3-я песнь. Однако можно предположить, что именно в ней содержалось первое моление к святому. Но даже сохранившийся текст наглядно показывает, насколько отличается отношение Климента к мученику. Число обращений к нему рекордно для общих канонов, более половины из них – от 1-го лица. И если святитель – патрон земли, то мученик – *личный* патрон молящегося (часто, вероятно, соименный ему). Именно перед этим святым не стесняются признаваться в грехах (обилие в просьбах покаянных эпитетов), а просьбы касаются в основном личного спасения.

Молебная тема объединяет все рассмотренные выше произведения Климента Охридского, но очень слабо (хотя и по разным причинам) она представлена в праздничных, торжественных трипесницах на Рождество Христово и каноне общем преподобным, а ярче всего – в каноне на Положение ризы и пояса и в каноне общем мученикам.

Во всех канонах Климента Охридского можно найти догматические мотивы. Но автор соотносит их с празднуемым событием и подчиняет ему: так, троичные мотивы (перечисление *всех* лиц Святой Троицы) есть во всех трипесницах, а также в одном тропаре общих канонов апостолам, святителям и преподобным, но в других произведениях в подобной форме не встречаются.

Столь широко представленные в трипесницах пророческие мотивы (пообразовательные свидетельства) можно найти и в обоих канонах на богородичные праздники, но их практически нет во всех остальных произведениях.

Очевидно, что определяющим для Климента в первую очередь был характер праздника, которому и подчинялись все используемые автором образы, мотивы и темы.

Таковы первые, предварительные выводы, сделанные на основе анализа гимнографических произведений одного из ярчайших авторов кирилло-мефодиевского круга. Но уже сделано открытие, заставляющее нас вновь и вновь обращаться к той эпохе и в чем-то пересматривать уже устоявшиеся положения. А именно: Г. Поповым

найден подписной канон Константина Преславского на Рождество Христово, являющийся авторизованным переводом ямбического канона Иоанна Дамаскина, в котором не только сохранен тот же стихотворный размер, но и акростих проходит по начальным буквам всех строк каждого тропаря [18]³⁹.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов Г. Триодни произведения на Константин Преславски. София, 1985 (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 2).
2. Попов Г. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски и Константин Преславски // Български език. 1982. № 1. С. 3–36.
3. Кожухаров Ст. ПЪТИ ДОСТОИТЬ АРХИСТРАТИГА (Новооткрито произведение на Константин Преславски) // Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. София, 1983. С. 59–62.
4. Станчев К., Попов Г. Климент Охридски. София, 1988.
5. Кожухаров Ст. Преславски канон за Въведение Богородично (Към проблема "акростих-реконструкция на състава") // Palaeobulgarica. 1991. № 4. С. 28–38.
6. Попов Г. Из химнографското наследство на Константин Преславски (Новооткрит трипеснец за предпразненство на Успение Богородично) // Palaeobulgarica. 1995. № 3. С. 3–31.
7. Мошкова Л.В., Турилов А.А. "Моравские земле велеи гражданин" (неизвестная древняя служба первоучителю Мефодию) // Славяноведение. 1998. № 4.
8. Государственный исторический музей (ГИМ). Собр. А.И. Хлудова (Хлуд.), № 156. Минея служебная, март–август. Конец XIII – начало XIV в. Л. 284г.–286г.
9. ГИМ. Хлуд., № 166. Минея праздничная. Первая половина XIV в. Л. 157об.–162.
10. Велинова В. Тържествената ораторска проза в България: IX–X век. София, 1998.
11. Иванова К. Служба на св. Ахил Лариски (Преспански) от Синайския празничен миней № 25 // Palaeobulgarica. 1991. № 4. С. 11–22.
12. Уханова Е.В. Служба св. Клименту, папе Римскому, в контексте крещения Руси великим князем Владимиром // Историческому музею – 125 лет. М., 1998. (= Труды Государственного исторического музея. Вып. 100). С. 143–152.
13. Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1970–1977. Т. 1–3.
14. Скабалланович М. Толковый типикон. М., 1995. Вып. I–III (репринт издания – Киев, 1910–1915).
15. Шеламанов Б. Неизвестни химнографски произведения от Климент Охридски // Списание на Българската академия на науките. 1987. № 3. С. 63–64.
16. Сергей, архиепископ (Спасский). Полный месяцеслов Востока. М., 1997. Т. 3 (репринт изд. – Владимир, 1901).
17. Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. М., 1989. Т. 3. Ч. 1. (репринт издания – СПб., 1912). Стб. 120–122.
18. Попов Г. Новооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно поетично послание // Palaeobulgarica. 1997. № 4. С. 3–17.
19. Верещагин Е. Особый парафраз канона на Рождество Христово в декабрьской служебной минее конца XII – начала XIII вв. // Palaeobulgarica. 1997. № 4. С. 18–36.

³⁹ Этот же канон по другому, неполному списку издал Е.М. Верещагин [19]. Но он не сумел прочесть акростих, так как разбил славянский текст на строки в соответствии с греческим оригиналом.



"УТОПИЯ И УТОПИЧЕСКОЕ"¹ – МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

9 июня 1998 г. в Институте славяноведения РАН состоялся обозначенный в заголовке круглый стол, материалы которого предлагаем ниже.

© 1999 г. Л.А. СОФРОНОВА, д-р филол. наук

Еще А. Мицкевич писал в "Лекциях по славянской литературе", что в славянской культуре утопическое и утопия занимают значительное место, имея в виду тип славянского мировидения. Он полагал, что славяне движутся по направлению к будущему, которое "русские зовут мечтой, чехи – утопией, и которое есть только идеал" [1]. Польский поэт, откладывая утопию по оси времени, видел ее только в будущем и явно связывал с категорией желательности; хотя существуют славянские утопии, обращенные вспять, так же, как присутствуют подвиды утопий, различающиеся по способу представления мира и человека: антиутопия, дистопия. Видимо, проявления утопического видения мира, восприятие в утопическом ракурсе настоящего и прошлого, человека, природы и истории шире понятия утопии, которую можно определить как их производное. Оно сказывается в науке, искусстве, во многих проявлениях общественной жизни и не всегда поддается четкому описанию, в отличие от утопии.

Литературная, художественная утопия – явление, фокусирующее множество силовых линий культуры. Она, избирая главным объектом картину мира, подобно мифу, структурирует ее и указывает место человека в ней, но, естественно, стремится к ее повторению, к воссозданию мира. В ней явно присутствуют мотивы перехода от хаоса к упорядоченности, построения нового мира и создания нового человека, выделяются и многие другие мифологемы. Давно замечено сходство утопии с фольклорными жанрами, в первую очередь со сказкой. Неслучайно Е. Замятин называл утопию "городской сказкой".

Утопия занимает пограничное положение между вымыслом и публицистикой, соседствует с фантастикой и с научными трактатами, порой принимая их формы. В ней постоянно идет внутржанровый диалог. Она способна реализовываться в художественных жанрах, иногда занимая собой все его пространство, а иногда сужаясь до нескольких мотивов в повестях и новеллах. Она избирает жанры публицистические, часто расширяясь до объемов трактата об устройстве общества, или о воспитании человека. История также может определять ее семантическую структуру – тогда в силу вступают научные концепции и начинается конфликт утопии с ними.

Построение пространства – одна из основных задач утопии. Каждый раз она не просто подправляет уже существующие его очертания, а предлагает новую конструкцию. Уже само название – утопия – отсылает к локусу, который или преднамеренно не назван, или имеет условное название с явной семантической нагрузкой. Реальный мир всегда противостоит утопическому, только это противостояние бывает

¹ Грант РГНФ № 98-04-06187.

вынесено за пределы текста. Связкой между двумя мирами выступают такие постоянные утопические мотивы, как сон, путешествие, переносящие человека во времени и пространстве. Пространство утопии принципиально удалено от реального мира, объявлено неизведанным затерянным миром, к которому трудно добраться, как в народной утопии. Пространство утопии иногда не бывает окончательно оторвано от реального; в его основе может находиться и хорошо известный, например, национальный вид локуса, но отнесенный во времени, как идеализированная седая старина. Анализ различных видов художественного пространства показывает, что часто утопия возвращается к очертаниям архетипических топосов. Народные утопии, например, преимущественно показывают идеальное пространство, не насыщенное социальными конструкциями, где коды вещи и еды имеют важнейшее значение – через них выстраиваются мотивы изобилия, вечного праздника.

Одна из составляющих пространства утопии – это природа, которая непременно имеет нравственные характеристики. Как вместилище добродетелей выступают остров, деревня, а также далекая планета или луна. Человек достигает гармонии, сливаясь с ними. Направленная на природу деятельность людей – важный мотив утопии. В дистопии тема природы искажается, доминирующей становится идея насилия над природой, о чем свидетельствует, например, "Не-Божественная комедия" З. Красиньского.

Конструирование пространства утопии чрезвычайно детализировано, что способствует возникновению антитезы конкретности и условности, характерной для утопического пространства и для утопии в целом. Существенный признак ее художественной структуры – детализация. В утопическом мире всякая деталь важна как знак нового мира. Утопия тщательно прописывает пространство и человека, в чем смыкается с научной фантастикой, где изображение новых, доселе невиданных или давно погребенных историей вещей, – всегда важная художественная задача, а также выполняет познавательную функцию.

Утопические персонажи, подобно мифологическим, полностью подчиняются пространству, и их характеристики выстраиваются внутри него, даже в том случае, если герой готов это пространство уничтожить. Среди них выделяются примеры и анти-примеры. Чаще всего человек представлен как часть правильного или неправильного социума. Можно предположить, что основной герой утопии не он, а именно общество, или новый, правильный или неправильный мир. Кроме того, один из типов героя воплощает чужую точку зрения – это герой, прибывающий извне; путешествуя, он созерцает утопию обычно в паре с руководителем, объясняющим устройство нового мира. Часто утопия, например, религиозная, нацелена на совершенствование человека, которое позволит ему свободно войти в новое время. Он проявляет относительно большую активность и способен к внутренним изменениям, должным привести его в итоге к спасению мира. Также в дидактической утопии человек видоизменяется, ориентируясь на образец. Здесь он во многом организует утопическое пространство, демонстрируя тип правильного и неправильного поведения. В социальной утопии и человек, и пространство подлежат перестройке. В этом виде утопии преобладает оппозиция, свобода/не-свобода, сильно развиты политический, экономический и технический аспекты. Очень много внимания уделяется путям перехода от реального мира к утопическому. Таким образом, центр тяжести в утопии постоянно меняется. Он переносится от идеально организованного или деструктурированного пространства к идеально гармоническому или несовершенному человеку.

Если изображение утопического общества соотносится с конкретным историческим временем, то оно вызывает обращение к проблемам истории. Утопия стремится как переделать историю, так и подвергнуть ее резкой критике. Прошлое, черты которого свойственны и настоящему, видится утопистам как несовершенный мир, подлежащий разрушению и выстраиванию заново. Будущее, к которому стремится настоящее, также должно быть изменено, и для этого выискиваются различные пути,

один из которых – реализация идеи прогресса, благодаря которой "идеальное состояние или переносится в неопределенно далекое будущее, вызывая ослабление эсхатологизма, или мыслится, как непрерывно становящееся, т.е. подменяется идеей дурной бесконечности существования" [2].

В утопии обычно доминирует идея о том, что человек способен творить историю, потому он распоряжается ею, захватывая власть над ней, и не прислушивается к ее ходу, за что иногда несет заслуженное наказание или, напротив, выигрывает битву со временем. Переделывание истории вообще связано с отношением ко времени. Утопическое время – особое время. Его можно умозрительно вернуть вспять, тогда возникает архетип прошлого, золотой век, возвращенный рай. Можно перенестись в будущее, поместив там сконструированную мечту о всеобщем счастье, или выразив страх перед тотальной катастрофой, как в религиозной утопии, где доминирует идея преображения мира и спасения его. Время в утопии зримо, конкретно, тесно связано с человеком, способным воздействовать на него, который уверен в том, что в состоянии приблизить его, работая на его приход.

Очувшившись в ином пространстве и времени, человек вглядывается в заведомо искажающее зеркало утопии, в котором он силится познать самого себя и прозреть иной новый мир, через который – от противного – он познает мир реальный. Выступает утопия и в качестве компенсирующего средства; когда человек конструирует утопию, вкладывая в нее надежды на лучшее будущее, в ней преобладает категория желательности, которая затем сменяется категорией долженствования. Одновременно в утопии сильны эсхатологические мотивы, хотя она и стремится освободить человека от власти смерти и истории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mickiewicz A. Dziela.* Warszawa, 1955. Т. 10. S. 14.
2. *Карсавин Л.* Философия истории. Берлин, 1923. С. 245.

© 1999 г. Ю.И. РИТЧИК

Предваряя анализ конкретного литературного произведения, – "Фантастическое путешествие Барона Брамбеуса", поясню свою трактовку понятия "утопия" ("утопическое повествование"), иерархии категорий фантастического и утопического, фантастики вообще как формы отражения и познания мира.

Предпочтительно – по моему мнению – оставаться в рамках традиционного понимания термина "утопический роман" (повесть, рассказ), т.е. утопии в узком смысле слова, как специфического, достаточно четкого в жанровом и содержательном отношении явления литературного творчества с явным генезисом и внятно фиксируемой историко-художественной эволюцией. Утопический жанр следует рассматривать как часть литературной фантастики, для которой (части) характерен прогностический подход к проблемам социально-общественного устройства и которая тем самым принципиально различается от широкого спектра жанров так называемой научной, или же научно-технической, фантастики. Однако и утопия предполагает глубокое знакомство с научными достижениями своей эпохи, и трактовка общественно-социальных проблем, особенно в XX в., все очевиднее находится в прямой связи с развитием новейших технологий. Но главными остаются мировоззренческие, общефилософские задачи.

Утопия отличается от научной фантастики, во-первых, несомненным дидактизмом, явной нравочувственностью, мессианской ноткой, во-вторых, идеологизированностью,

в-третьих, рационалистическим схематизмом при всеохватности вплоть до вселенских масштабов. Научной же фантастике свойственны развлекательность, остросюжетность, авантюризм, фантазирование, эмоциональность.

Утопическое повествование – это жанр, несомненно, литературный и по происхождению, и по своей исторической эволюции. Любопытно отметить в связи с этим, что в авторитетном "Словаре театра" Патриса Пави нет статьи об утопии, а о фантастическом начале сказано следующее: "...фантастическое несвойственно театру... именно потому, что театр исходит из видимой ирреальности и, следовательно, ему нелегко противопоставить естественное и сверхъестественное, он не породил в отличие от рассказа или кинематографа великой драматической фантастической литературы" [1].

Отмечая сознательный схематизм, свойственный утопическому повествованию, стремящемуся к глобальной картине мира и общества, нельзя, однако же, не отметить исключительной важности конкретной детали, которая играет огромную роль в раскрытии, понимании глубинной сущности всей конструкции, ансамбля, абриса "Блаженной страны", или "Нигденни". Именно благодаря детали мы можем давать историческую оценку попадания или же непопадания в "яблочко предвидения". Благодаря ей же мы можем наблюдать почти фантазмагорическое перерождение в новых исторических условиях утопии в антиутопию. "Что же касается одежды, то за исключением того, что внешность ее различается у лиц того или иного пола, равно как у одиноких и состоящих в замужестве, покроем ее остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время...". Трудно поверить, особенно, вне контекста, что это не предупреждение Замятина, а "приглашение" в страну социального равенства Мора! Одна эта подробность могла бы ужаснуть, но не ужаснула адептов нового мира на протяжении нескольких веков... (цит. по: [2. С. 83]).

"Фантастические путешествия Барона Брамбеуса", напечатанные в 1835 г. в петербургской типографии вдовы Плюшар с сыном, принадлежат перу журналиста, писателя, эссеиста и ученого О.И. Сенковского, особенно популярного и влиятельного в 30–40-е годы. Его аполитичность, нежелание участвовать в так называемой общественной борьбе предопределили негативное к нему отношение ангажированной критики в лице Белинского и Чернышевского, которое в последующие эпохи было перенято их продолжателями. Но даже родитель Веры Павловны сквозь зубы признает, что "русский язык г. Сенковского был с самых первых его статей легок и чист" [3. С. 54], что Сенковский "гордо уклонялся от всякой полемики, не принимая вызов на перебранку... это доказательство собственного достоинства и силы..." [3. С. 59]. Что же касается заслуг Сенковского в просвещении, приобщении русской публики к регулярному чтению и, значит, активизации литературного процесса, то его подвижническая работа почти два десятилетия редактором самого массового "журнала словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод" – "Библиотеки для чтения", тираж которой доходил до астрономической по тем временам цифры в 5 тыс. экземпляров, говорит сама за себя.

В книге 1835 г. три повести – "Поэтическое путешествие по белу-свету", "Ученое путешествие на Медвежий остров" и "Сентиментальное путешествие на гору Этну". В сообщении была проанализирована, как наиболее характерная для творчества Сенковского, вторая из них.

В "Ученом путешествии" речь идет о поездке героя повести вместе с немецким ученым Шпурцманом, командированным Геттингенским университетом, вверх по Лене, к ее устью, где, по слухам, на скале, именуемой Медвежьим островом, расположена некая Писанная Комната. В ней-то и предполагают обнаружить таинственные письмена и археологические артефакты два поклонника теории Кьюве и метода прочтения египетских иероглифов Шампольона. Внутри этого сюжета заключен второй, уже абсолютно фантастический, рассказывающий о жизни и гибели "предпотопной" страны, существовавшей на этой территории многие века, если не тысячелетия назад. Сведения об этом содержат иероглифы, покрывающие все четыре

стены Писанной Комнаты. В рассказе Шабахубосаара, последнего жителя чудесной страны, даются описания огненной борьбы стихий, потопа и столкновения со "слетевшими с неба горами", выгорания атмосферы, составленной из газов, неизвестных ныне и позволявших предпотопным людям жить по несколько сот лет. Оба ученых мужа, тщательно скопировав письма Писанной Комнаты, не сомневаются, что открыли древнюю цивилизацию, что "нынешняя Барабинская Степь, в которой живут Буряты и Тунгузы, есть только остаток славной, богатой, просвещенной предпотопной Империи, называвшейся Барабиею, где люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из апоплотерионов, сосиски из антракотерионов, жаркое из лодифодонтов, с солеными бананами вместо огурцов, и жили до пяти сот лет и более" [2. С. 254].

Велико разочарование "открывателей" незнакомой цивилизации, когда оберберг-пробирмейстер 7 класса Иван Антонович, доставивший их на Медвежий остров, сразу же признает в иероглифах всего-навсего кристаллы сталагмита, называемого в минералогии "глифическим", или "живописным".

Научная результативность экспедиции становится вполне понятной, когда герой объясняет немецкому коллеге, успевшему тоже сделать немало сенсационных археологических находок, подтверждаемых сведениями, оставленными последним жителем предпотопной страны на стенах Писанной Комнаты, принципы перевода иероглифов, которых он придерживался: "Я переводил их Шампольону: всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, или буква и фигура, или ни фигура, ни буква, а простое украшение почерка. Ежели смысл не выходит по буквам, то..." [2. С. 261].

Ироническая фантастика Сенковского, отлично знавшего новейшие течения в различных областях современной ему науки, заслуживает куда более пристального внимания, чем ей до сих пор уделялось, особенно в контексте несомненного подъема фантастического направления в русской словесности 30–40-х годов XIX в. (В. Одоевский, А. Погорельский).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 404–405.
2. Утопический роман XVII–XVIII вв. М., 1971.
3. Чернышевский Н. Очерки Гоголевского периода русской литературы. Изд. 2-е. СПб., 1893.

© 1999 г. Л.Н. ТИТОВА, д-р филол. наук

Утопия может пронизывать все жанры – роман, драму, поэму, а также научные сочинения и трактаты. В последнем случае сущность зачастую бывает выражена более четко и определенно, чем в художественных произведениях.

Обратимся к конкретному материалу – трактатам, "защитам" чешского языка и литературы, программам, с конца XVIII в. представлявшим собой важную часть культурной "продукции" Чехии и получившим широкое распространение в первое тридцатилетие XIX в. (так называемая "война брошюр"). С определенной долей уверенности можно утверждать, что большинство их утопично по своей природе. Это связано с характером самой эпохи, пафосом национального возрождения, а именно – концентрацией национальных сил для отторжения немецкого культурного мира, создания чешской культуры нового времени, опирающейся на славянский мир. Отсюда – не только та мифологичность, игра и мистификация, о которых как слагаемых, важных чертах эпохи, столь убедительно пишет Вл. Мацура [1], но и утопическое,

пронизывающее и научные сочинения, и произведения будителей – поэтов, драматургов, писателей.

Культура этого времени стремится создать иллюзию действительности и утопию будущего, желаемую и видимую, слышимую картину изображаемого. Соотношение этих двух пластов (реального, действительного и утопичного) неустойчиво и отмечается на разных этапах этого процесса, но присуще культуре национального возрождения в целом. При этом общественное значение произведений с ярко выраженными элементами утопии возрастает. Это ведет за собой жанровые трансформации: так, например, в Чехии на рубеже XVIII–XIX вв. ввиду своей значимости в процессе формирования национального и исторического сознания преобладающими становятся сочинения публицистические.

Трактат Яна Коллара "О литературной взаимности между различными племенами и наречиями славянского народа" (1836) широко известен, и не только в славянском мире. Доминанту поэтического творчества и всей деятельности Коллара составляет идея национального самоутверждения славянских народов и их взаимной помощи. Развивающееся национальное самосознание требует исторического самоопределения народа (чехов, словаков, славян – в мире, в Европе, немецком мире), и сочинение Коллара отвечает новым реальным потребностям.

Его программа (подчеркнем, что она создавалась и Колларом-поэтом, ученым, а не только Колларом-публицистом) содержит и реальные и успешно воплощающиеся в жизнь на протяжении последующих полутора веков положения, касающиеся учреждения славянских кафедр в средних и высших школах, организации библиотек, книжных лавок, книгообмена, издания общеславянского литературного журнала. Однако та часть трактата, где говорится о едином славянском народе, едином славянском языке – утопична. Речь идет, прежде всего, о следующих пунктах программы: "Постепенное присвоение чужих слов и оборотов, на которых лежит печать одной народности, принятие оборотов чисто славянских и, вследствие этого, условное приближение к идеалу языка всеславянского" и "однообразное, философское, на духе славянского языка основанное правописание, в употреблении которого согласились бы все славяне" (цит. по: [2]). Именно эти положения программы, выражающие утопическую всеславянскую мечту Коллара, раньше всего утратили свою актуальность и подверглись критике. Путь был естественен и логичен: от мечты о едином славянском народе – к признанию самобытности каждой славянской нации, от утопических видений – к трезвому реализму.

Уже через 10 лет, в 1846 г., К. Гавличек-Боровский пишет: "...такой сильный, живой и новый порыв был нужен, дабы пробудились наши души, ослабленные долгой бездеятельностью". Но в то же время он говорит и о "путанице мыслей и неопределенности терминов", что "всегда бывают нелепыми и весьма вредными" (цит. по: [3. С. 19]).

Наш соотечественник В.А. Панов, вспоминая о своей встрече с Колларом в Пеште в 1843 г., замечает: «Он не умеет различать времени и не умеет отдавать каждому племени славянскому его достоинства... Я помню, что я был ею (книгой "О литературной взаимности...") недоволен... И в самом деле: мы имеем свою самобытность, свою литературу, и когда от нас станут требовать, чтобы мы отреклись от своей особенной национальности, чтобы принять общую с другими малыми племенами, которые 50 лет тому назад себя почитали мертвыми..., тогда, разумеется, это требование скорее возбудит в нас отвращение, нежели соучастие и взаимность» [3. С. 102].

Историческая актуальность колларовской программы славянской взаимности (в том числе, отношение к ней в 60-е годы XIX в., в 20–40-е годы и во второй половине нашего столетия), иными словами, характер восприятия остающихся в рамках утопии трактатов – вопрос весьма интересный как для славистики, так и для проблемы "жизни утопии" (в частности, сочетания утопии с исторической проницательностью).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mašura V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Praha, 1995. S. 79–117.*
2. *Коллар Я. О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими // Отечественные записки. 1840. Т. 8. № 2. С. 92.*
3. *Ян Коллар – поэт, патриот, гуманист. М., 1993.*

© 1999 г. *Е.В. ЖИГУЛИН, канд. искусствоведения*

"Духовный Регламент" – это знаковый, программный документ начала синодального периода истории Русской Православной Церкви. Причиной учреждения "Духовного Синода или Синода, то есть Соборного Духовных Дел Правительства" названа в указе Петра от 25 января 1721 г. "великая в делах скудость" и "многие нестроения" духовного чина. Книга Томаса Мора в русском переводе 1789 г. называлась "Картина всевозможного лучшего правления, или Утопия". "Духовный Регламент", описавший "картину всевозможно лучшего правления" русской церковью, может быть рассмотрен как религиозная утопия.

"Регламент" писался как обоснование преимуществ коллегиального управления церковью перед единоличным: "понеже в единой персоне не без страсти бывает, к тому же не наследственная власть, того ради вяще не брегут". Петр шуточно спрашивал писавшего "Регламент" Феофана Прокоповича: "Как наш Патриарх?", на что тот отвечал: "Дошиваю ему рясу".

"Регламент или Устав Духовных Коллегии" (М., 1738, изд. 4) разделяется на три части: "1. Описание и важные вины такового правления; 2. Дела управлению сему подлежащая; 3. Самых управителей должность, действо и сила". Однако в действительности лишь название первой части соответствует содержанию. Вторая часть состоит из перечисления недостатков церковной жизни и определяет обязанности подчиненных Духовной Коллегии епископов, клира и мирян. В третьей части изложены предметы деятельности Духовной Коллегии и дается отсылка к Генеральному Регламенту.

Прецедентами Духовной Коллегии названы Синод ветхозаветной иерусалимской церкви и афинские гражданские Ареопаг и Дикастерия, но не действительно послужившая образцом протестантская Генеральная Церковная Консистерия немецко-шведского типа. Сравнительный анализ П.В. Верховского показал, что "Духовный Регламент" – "вольная копия протестантских церковных уставов".

Девятью "винами" Феофан Прокопович пытался доказать, что Духовная Коллегия есть постоянное соборное правление и этим предпочтительней патриаршего. Во-первых, коллегиально можно вынести более мудрое решение; во-вторых, коллегиальное решение более авторитетно; и в-третьих, утвержденная монархом Коллегия имеет высший авторитет. Четвертой "виной" называется непрерывность деятельности Коллегии, не зависящей от здоровья одного лица. Утопические пятое и шестое преимущества в беспристрастности, неподкупности, свободе и независимости Коллегии.

Главной причиной упразднения патриаршества была наиболее пространно написанная седьмая "вина" – оппозиция духовенства, "помощь к бунтам от чина духовного": "от соборнаго правления не опасатися отечеству мятежей и смущения, яковые происходят от единого собственного правителя духовнаго. Ибо простой народ не ведает како разнствует власть духовная от самодержавной; но великою высочайшаго пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть то вторый Государь Самодержцу равносильный, или и болши его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство". "Регламент" лишает духовенство, Духовное

правительство и его президента "великая и народ удивляющая славы", "лишняя светлости и позора" и, наконец, "высокаго о нем мнения". Восьмой "виной" президент или председатель подлежит суду самой Духовной Коллегии, тогда как для суда над патриархом "нужда есть созывати собор селенский". Последняя "вина" предполагает опытных и достойных членов Духовной Коллегии возводить в архиерейский сан.

Несмотря на репрессии, против упразднения патриаршества и секуляризации церкви выступали архиереи Феодосий Яновский, Георгий Дашков, Игнатий Смола, Арсений Мацеевич, архимандрит Маркелл Родышевский и др. Арсений Мацеевич подчеркивал, что на учреждение Синода согласились не все восточные патриархи – только Константиновский и Антиохийский "без прочих архиереев, и то с великим крочком, сиречь – ежели не будет противно правилам апостольским и соборным". Не подписывали грамот признания Синода патриархи Александрийский и Иерусалимский.

Вывод исследования П.В. Верховского "Учреждение Духовной Коллегии и Духовный Регламент" (Ростов-на-Дону, 1916): «Реформа сделала церковь слугою государства и тем самым очень губительно отразилась на ее внешнем строе и внутреннем быте: 1) русской церкви, как самостоятельного института, не стало, ее место заняло "Ведомство Православного Исповедания" во главе с государственной коллегией под именем "Св. Синода" и под контролем Обер-прокурора; 2) духовенство было прикреплено к государственной службе и составило своеобразный класс духовных чиновников».

За два века синодального управления в русской церкви не было ни одного Собора. Синодальная форма правления, основанная на коллегиальном начале, была признана Русской Православной Церковью не соборной и неправославной формой правления, и в 1917 г. было восстановлено патриаршество. Таким образом, была признана утопичность "Духовного Регламента" как "программы русской Реформации" (Флоровский).

Утопичны были и попытки рационального регламентирования живой церковной жизни. Во второй части "Духовного Регламента" предписывалось ограничить литургическое творчество. Современные акафисты и молебны названы "непристойными и праздновными", из житий святых требовалось исключить "смеху достойныя повести". Рационально-недоверчивое отношение к чудотворным иконам и мошам святых привело к тому, что в XVIII–XIX вв. были лишь единичные случаи канонизаций.

Удодичным оказался и проект издания своеобразного катехизиса – проект трех "книжиц": "Первую о главнейших спасительных догматах веры нашея, тако́ж и о заповедях Божиих в десятословии заключенных. Вторую о собственных всякого чина должностях. Третью таковую, в которой собранные будут с разных святых учителей ясные проповеди, как о главнейших догматах, так и наипаче о грехах и добродетелях и собственно о должностях всякого чина". "Книжицы" предполагалось частями читать в церквях в праздничные дни так, чтобы полностью прочесть четырежды в год. Реально первая книга – "Православное учение" митрополита Московского Платона (Левшина) появилась только в 1765 г.; вторая – "Наставление о собственных всякого христианина должностях" Тихона, епископа Воронежского – в 1787 г.; третья – "Краткие поучения из разных св. отец и учителей" Гавриила, митрополита Новгородского – в 1780 г. и в церквях не читались.

Проект "домов училищных" – Семинарий и Академий – имеет утопические черты казарменности: семинаристы сравниваются с солдатами и "до трех лет по приходе всякого в семинариум не испускать никуда". В самом "Регламенте" признается, что "такое молодых человек житие кажется быти стужительное и заключению пленническому подобное".

Священникам "Духовный Регламент" предписывал нарушать тайну исповеди: "о злодейственном на Государя или на тело церкви умышления и о хотящем от того быть вреде доносить и объявлять должно есть". Опасаясь распространения оппозиционных настроений монашества, "Регламент" утопически ограничивал традиционную для мо-

настырей книжно-письменную культуру: "Монахом никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток советных без собственного ведения настоятеля под жестоким на теле наказанием никому не писать, а грамоток кроме позволения настоятеля не принимать и по духовным, и гражданским регулам, чернил и бумаги не держать". "Регламент" запрещал основание новых монастырей и скитов, упразднял малочисленные монастыри, ограничивал пострижение в монахи годных к службе мужчин, а женщин не ранее пятидесяти лет.

Духовенство не любило Феофана как послушного исполнителя воли Петра, интуитивно чувствуя, что он скорее обер-прокурор Синода, нежели духовное лицо. В письме другу Якову Марковичу Прокопович писал: "Может быть, ты слышал, что меня вызывают для епископства; эта почеть меня так же привлекает и прельщает, как если бы меня приговорили бросить на съедение диким зверям. Дело в том, что лучшими силами своей души я ненавижу митры, саккосы, жезлы, свещники, кадильницы и тому подобные утехы". В "Регламенте" Прокопович порой пишет стилем политического памфлета: "слуги архиерейские обычне бывают лакомые скотины, и где видят власть своего владыки, так с великою гордостью и безстудием, как татаре на похищение устремляются".

Отношения автора "Духовного Регламента" и реформированной им церкви были взаимно-неприязненными. Опыт не реформы, но попытки Реформации Православной церкви оказался религиозной утопией.

© 1999 г. Г.П. МЕЛЬНИКОВ, канд. ист. наук

Говоря об элементах утопизма в учении великого чешского философа и педагога Я.А. Коменского, следует различать два аспекта. Во-первых, влияние жанра утопии, сформировавшегося в XVI – начале XVII в. в европейской литературе. Конечно, Коменский знал "Утопию" Томаса Мора и "Город Солнца" Томмазо Кампанеллы, а также другие утопические сочинения. Сама модель утопического города всеобщего счастья отразилась в его философско-дидактическом романе "Лабиринт мира и рай сердца", что неоднократно отмечалось исследователями.

Во-вторых, можно говорить об элементах утопизма, содержащихся в теоретических построениях Коменского и касающихся будущего единого устройства человечества. Некоторые черты идеальных утопических городов перенесены Коменским на земное пространство в целом. Поэтому мы вправе говорить о глобальном масштабе утопии великого чеха. Если у "классиков утопии" она была представлена как пространство изолированное (остров, город, государство, иная планета и т.п.), служащее идеальным образцом, моделью для переустройства всего общества – причем всегда мыслилось, что это именно идеал, к которому следует стремиться в реальной жизни, – то у Коменского путь к достижению идеала в планетарном масштабе приобретает характер конкретного практического руководства, своего рода пособия. Тем самым автор снимает налет утопизма; он мыслит свою утопию как вполне конкретную, реально достижимую цель. Сочетание утопизма и практицизма, с его жесткой целесообразностью, составляет характернейшую черту стиля мышления Коменского в целом – это заметно и в его проектах переустройства жизни человечества.

Этой проблеме посвящен ряд глав "Всеобщего совета об исправлении дел человеческих" – основного сочинения Коменского, вобравшего в себя весь комплекс идей чешского мыслителя. Прежде всего, человечество им видится как единое сообщество, в котором устранены различия, приводящие к вражде и насилию. Коменский сохраняет государство, но лишь на некий переходный период. Затем человечеством будет управлять единое мировое правительство, заботой которого

станет соблюдение гармонии интересов всех жителей земли. Чтобы избежать противоречивости интересов, приводящих к войнам, Коменский предлагает ряд унификационных мер.

Наибольшее зло в мире, по мнению Коменского, – война, порождение эгоистических устремлений правительств различных государств. Поэтому для достижения мира следует отменить границы, правительства, само понятие суверенных государств и государственного интереса, поскольку он – "выдумка дьявола", стремящегося погубить род людской. Коменский не отрицает государство как форму организации общества, он лишь предлагает создать на всей земле единое государство. В нем для достижения определенной монолитности общества предлагается осуществить ряд реформ. Следует подчеркнуть, что хотя в принципе они не затрагивают социальной иерархичности общества, но, будучи осуществленными на практике, неизбежно приведут к созданию социально однородного общества.

Действительно, введение для всех единого типа жилища, единой пищи, единообразной одежды будет иметь следствием ликвидацию ненасильственным путем внешних атрибутов социальной стратификации, что не сможет не затронуть имущественного положения членов общества. Но здесь Коменский, в отличие от своих предшественников, не дает детального описания экономического устройства общества будущего. Кажется, что для него внешнее выражение принципа всеобщего единства, воплощенного в единообразии, важнее сущностных характеристик.

Важнейшая цель для Коменского – не установление общества всеобщего равенства, как будет потом у Фурье и Оуэна, а устранение причин и поводов для проявления вражды между странами и народами. Поэтому Коменский предлагает две кардинальные меры, снимающие причины для вражды – установление единой мировой религии и введение единого общечеловеческого языка.

Первое устранил причину религиозных войн и преследований иноверцев. Для Коменского этот аспект был чрезвычайно актуален, поскольку Тридцатилетняя война началась как религиозный конфликт в Чехии и привела после победы Габсбургов к изгнанию из страны всех протестантов, от чего пострадала и Община чешских братьев, членом руководства которой он был. В роли всемирной религии Коменский видел только христианство, ведь "истина одна – Христос". Однако конкретные ее формы он не разработал, очевидно, полагаясь на то, что они будут выработаны в будущем в ходе межхристианских дискуссий. По отношению к адептам других религий Коменский советовал действовать лишь методом переубеждения, в действительности которого он не сомневался: как он полагал, против истины никто не может долго упорствовать. Здесь необходимо обратить внимание на утопизм методов достижения цели, исходящий из абсолютизации понятия Истины.

Единый всемирный язык создаст, по мнению философа, универсальное коммуникативное средство, в свою очередь способствующее распространению Истины. Он также позволит снять этнические противоречия и будет способствовать созданию человечества, лишённого этнического сознания. Деэтнизация представлялась ему важной вехой на пути формирования человеческого универсума.

Этой же цели служит единая система образования, наиболее полно разработанная Коменским. Единый учебный материал и единая методика позволяет дать всем единообразное образование, привив единообразное отношение к миру, единые способы его освоения. Поскольку создавать новое общество будут будущие поколения, первоочередным представляется именно создание новой педагогики как средства формирования нового человека. Поэтому педагогика в созданной Коменским концепции достижения всеединства вышла на первый план.

Нельзя не заметить здесь черт утопического коммунизма. Однако от своих предшественников в этой тенденции Коменский отличается "вектором" своих рассуждений. Он исходит не из того, что все люди равны и поэтому необходимо общество равенства и благоденствия, а наоборот исходит из убеждения в существовании Всеединства как категории сакральной, трансцендентной, как идеала, воплощаемого в

Едином Боге. Достижение на земле некоего подобия божественного единства есть дело богоугодное, религиозное. Человеческая душа, стремящаяся к единству, уже ориентирована теоцентрически, в чем залог ее спасения. Конкретные следствия этого сущностного, принципиального всеединства и воплощаются в новом унифицированном мироустройстве. Социальное и прочее равенство – лишь практические эманации стремления к духовному всеединству. Поэтому концепция будущего единого человечества у Коменского глубоко религиозна, даже теоцентрична. Коменский оказывается гораздо большим христианином, чем католик Т. Мор, уже в нашем веке канонизированный Ватиканом, и монах Т. Кампанелла, который в своем Городе Солнца даже заменил поклонение Христу культом Солнца.

Христианский утопизм Коменского имеет черты тоталитарности. Мы видим проповедь ненасилия, сочетающуюся с уравнительными проектами. Парадокс "мягкого тоталитаризма" Коменского, "тоталитаризма с человеческим лицом", принципиального тоталитаризма, исключающего тоталитарные методы, вновь приводит нас к категориям Истины и Убеждения в его концепции. В свою очередь они представляются частями его педагогической системы. Поэтому следовало бы отдельно рассматривать вопрос об утопичности педагогической концепции Коменского – вопрос, звучащий несколько провокационно, поскольку хорошо известна прагматичность и утилитарность педагогики Коменского, позволившие ей стать основой педагогики Нового времени. Можно также поставить ряд принципиальных теоретических проблем: является ли воплощение в реальной жизни отдельных элементов концепции (например, ООН как "всемирное правительство равных народов") доказательством ее практичности, а не утопичности; может ли утопия включать в себя рационально воплощаемые, полезные компоненты, в принципе оставаясь утопией; не есть ли педагогический способ формирования "нового человека" через процесс обучения иллюзией, самообольщением гуманистического рационализма. Для разработки этих проблем чрезвычайно ценный материал предоставляют труды Коменского, в этом плане еще не исследовавшиеся.

© 1999 г. *М.В. ЛЕСКИНЕН, аспирантка ИС РАН*

В конце XVI в. польские публицисты и писатели констатируют кризис нравов, результатом которого, по их мнению, явилось повсеместное разрушение привычного порядка общественной и государственной жизни. Устоявшаяся картина мира подверглась изменениям, неизбежно обостряя сравнение недавнего прошлого и настоящего.

Жизнь в Польше, согласно рассуждениям Ш. Старовольского, изменилась в худшую сторону из-за нарушения традиционного государственного порядка, "без которого будучи, Польша гибнет и разорению подвергается" [1. S. 161]. Возврат к следованию традиции понимается Ш. Старовольским как путь исправления упадка Речи Посполитой, вина за кризис возлагается на шляхту, пренебрегшую традициями, отступившую от обычаев. Когда традиции не соблюдаются, Господь наказывает отступников: "Отступились мы от отцовских законов, и разных себе верок измыслили, а из чужих краев навезли обычаи, ... после еще и разным порокам обучились, о которых предки наши даже и не слышали; потом и страх перед Богом утратили..." [1. S. 14]. Упадок Речи Посполитой одновременно воспринимался как наказание за грехи: "Бог желал сохранить Польшу способами сверхъестественными и чудесными, привести ее к глубочайшему упадку, чтобы потом еще выше смогла бы она вознестись" [2]. Кризис, таким образом, воспринимается не как конец истории, но как начало нового ее цикла – возвращения "золотого века".

Другими словами, для того, чтобы исправить ситуацию в Польше, необходимо изменить реальную действительность согласно сарматским традициям:

Когда же будете верны отцов своих поступкам,
Вы мужеством себя прославите примерным,
И достоянья государства защитив,
Отчизну милую избавьте от напастей.
Не в час один взойдут благие всходы,
Но сообща увидите плоды
Так снова золото свободы засверкает,
И слава разнесется по земле [3].

Выход из кризиса польские шляхетские идеологи видят в возврате к законности, обычаям и установлениям – иными словами, сарматская традиция понимается и как абсолютная ценность, и как средство, механизм выживания и воспроизводства этнопрофессиональной самобытности.

Образец идеального общественного устройства, существовавшего, по мнению сарматских идеологов, в истории Польши некоторое время тому назад, одновременно является целью и в будущем, т.е. представляет собой не абстрактную теоретическую схему, но конкретный план изменения существующих общественных отношений. Механизм его осуществления прост – возврат к прошлому, к традициям сарматского народа, и потому это – социальная утопия.

Мы исходим из определения утопии, предложенного Е. Шацким: "Утопией может быть любая система отношений, в основе которой лежит неприятие существующих отношений и противопоставление им других отношений" [4. С. 27]. Носитель утопического сознания не просто хочет изменить действительность, но плохую действительность хочет заменить хорошей, предлагая альтернативу общественного устройства [4. С. 24–25].

Утопизм сарматской идеологии, исходя из этого, очевиден: идеал общественного устройства существует, но не в виде умопостроений конкретного мыслителя, а в сознании единого сословия, считающего себя польским народом. Социальная сарматская утопия совпадает с национальной, поскольку в основе ее лежит идеал Отечества, представление о совершенстве своего государства и гражданина, о его превосходстве над другими.

Утопия польского сарматизма называет конкретное местонахождение справедливого и идеального общества – это Польское государство. Перед нами, таким образом, утопия места. Утопия Отечества выполняет несколько задач одновременно. Она ярко "социально окрашена": в ней нет сословных противоречий, она представляет собой общество социального мира и гармонии. В качестве национальной идеи утопия Отечества определяет перспективу возможной консолидации всего общества при условии безусловного признания абсолютной ценности шляхетского сословия.

Польская утопия Отечества ориентирована на прошлое, стремится воспроизвести когда-то реализованный идеал – вернуть "золотой век". Поскольку миф продолжает жить в латентном виде, в национальном сознании в обществах, где господствует идея прогресса, то "обратная" направленность регрессивной или консервативной утопии не вступает в противоречие с мифологическим временем.

Время сарматской утопии Отечества мифологично. Сармат верит в "золотой век" своего Отечества так же, как он верит в "золотой век" античности. Точнее говоря, поскольку польское государство создано по образцу римского, то оно, в свою очередь, воспроизводит и его "золотой век". Конкретно определить его, зафиксировать в польской истории невозможно – ибо это время сакральное. Для польской шляхты XVI столетия "золотой век" был связан с Польшей времен первых польских королей (В. Демболецкий). Для Ст. Ожеховского, идеализировавшего античную Грецию и итальянский гуманизм, эти благословенные времена совпадали с периодом правления монарха Сигизмунда II, когда, по его мнению, соблюдено было верное и разумное со-

отношение между властью короля, церкви и шляхетского сословия. Ш. Старовольский считал "золотым веком" Польши совсем недавнее для него прошлое – XVI век. Под таким названием это столетие и вошло в польское историческое сознание.

Итак, утопия сарматизма, направленная в прошлое и основанная на традиции, как консервативная утопия, приобретает черты и функции мифа, ибо не просто идеализирует прошлое, но рассматривает повторение, невозможное в действительности, возврат в него как единственно возможный путь разрешения социальной напряженности.

Сарматская утопия задает координаты идеального пространства и времени – поэтому она не выходит из рамок мифа. Миф предписывает повторение, сакрализацию всего, не просто следование эталону, но восприятие этого процесса как нового рождения существовавшего когда-то. Отличие состоит в том, что, даже идеализируя образцы прошлого, утопия строит *новый* мир, она вынуждена отказываться от настоящего, ибо оно "испорчено". Мифологическое настоящее не может быть плохим, так как оно порождено непогрешимым, благодаря божественной силе.

Таким образом, сарматская национальная идеология возникает в переходный период и символизирует двойственность этого нового этапа – она строится на фундаменте мифологического сознания, но устремлена в будущее – и предлагает программу переустройства прежнего мира, создавая утопию Отечества. Сарматизм немислим без религиозной составляющей мессианства и сарматского Бога, однако, по словам Мэнноэля, "утопия носит сугубо светский характер, притом даже в тех случаях, когда мы имеем дело с чисто религиозными утопиями различных направлений" (цит. по: [4. С. 33]).

Уникальность сарматского национального мифа состоит в его двойственности, в совмещенности черт установившегося мира средневекового христианства и динамической устремленности в будущее, находящейся в руках человека; барочная форма и напряженность придают ему эмоциональную окраску, столь необходимую для национального мифа. Это особое сочетание делает сарматскую идеологию особенно "живучей" и гибкой, ибо она одинаково апеллирует и к рационально-историческому и к подсознательно-мифологическому типу мышления. Черты мифа придают идеям сарматизма временную стабильность; черты же утопии задают перспективу развития. На мифологическое основание можно "надстроить" практически любой тезис. А традиция не только связывает эти элементы воедино, но через механизм передачи наследия вводит сарматизм в коллективное сознание народа. Традиция, таким образом, снимает противоречие мифа и утопии в сарматской национальной идеологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Starowolski Sz.* Reformacja obyczaiow Polskich wszystkim stanom ojczyzny naszej (В. м., 1650).
2. *Kochowski W.* Lata Potopu. Warszawa, 1966. S. 41.
3. Wizerunek wiecznej sława Sauromatów starych pobudzający młodź rycerską ku naśladowaniu spraw ich. Od szlachetniej Pallady z gniazda cnót ich w Ojczystym Parnasie ubudowany, a przez Wawrzynca Chlebowskiego z przykłady mężów Rzymskich, onych wielkich miłośników Ojczyzny opisany i widany. Kraków, 1614. S. B 2.
4. *Шацкий Е.* Утопия и традиция. М., 1990.

© 1999 г. Н.М. ФИЛАТОВА, канд. ист. наук

Остановлюсь на вопросе о применении понятия "утопизм" к такой форме бытовой и литературной культуры, как светский литературный салон. Ю.М. Лотман в статье, посвященной функциям переводной литературы в формировании русской салонной культуры, описывает салон как своеобразную попытку создания утопии и утопи-

ческого пространства в реальной жизни. Речь при этом идет преимущественно о французском, так называемом *прециозном* (буквально – "жеманном", "манерном") салоне XVII в., который и стал изначальным образцом для европейской салонной культуры, в том числе и для русского салона. По словам Лотмана, особенностью салонов XVII в., которые были оппозиционны по отношению к государственной централизации Ришелье, была "резкая отграниченность от всего мира". "Переступая его порог, избранный, как всякий посвященный, член эзотерического коллектива, менял свое имя" и прелучал литературную маску, которая и становилась программой его бытового поведения. Переименовывалось, по словам Лотмана, и пространство, – "из реального оно становилось условным и литературным" (Париж именовался Афинами и т.д.).

Лотман утверждает, что прециозные салоны "противопоставляли деспотической реальности и героическому мифу о нем мир художественной утопии" – литературных "Острова любви", "Страны нежности", "Царства прециозности". Существенным признаком утопизма салонной культуры является, по мнению ученого, господство в ней "законов маскарадной трагедии – иначе говоря, стремления переиначить природный порядок, сделать мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной, и женщина не была женщиной". Это проявляется, по его словам, в свойственном салону стремлении к эмансипации женщин, их "дефеминизации" ("жестокость" к поклонникам входила в норму поведения женщин, которые зато блистали своей ученостью). Другим признаком утопизма, по Лотману, является "внесловная погруженность в игру и поэзию" (салон был единственным местом в тогдашней Франции, где пренебрегали социальными различиями) [1].

Однако, если мы обратимся к русскому салону эпохи его расцвета – 1810–1840 гг. – то увидим, что он не образует столь замкнутого, "сконструированного" по законам утопии мира. Безусловно, салон создавал свое культурное пространство – он мог быть прозаическим (салон А.П. Елагиной в Москве, с которым связано формирование славянофильства) или "поэтическим" (салон Зинаиды Волконской), – свой ритуал отношений между хозяйкой и гостями, определявшийся как этикетными нормами, так и романтическим стилем поведения. Для него также была свойственна погруженность в поэзию, литературу, что объяснялось, прежде всего, романтическим стремлением слить искусство с жизнью.

Но это пространство, как, впрочем, и пространство французского прециозного салона, было организовано с помощью игры, в то время как для утопии принцип игры не характерен. Салонная культура была основана на игре – как непосредственной (литературные игры, постановка "живых картин", любительских спектаклей и т.п.), так и скрытой (свободная "игра ума" в салонной беседе, подражание избранному литературному образу).

Что же касается "дефеминизации", то, на мой взгляд, культура эпохи Просвещения, напротив, стремилась к максимальной реализации женского начала. В философии Просвещения (у Юма, Руссо, Канта) появляется мысль, что в процессе интеллектуального развития общества мужчина и женщина призваны играть определенные, взаимодополняющие роли [2]. Сфера чистого разума считалась традиционно мужской, в то время как мир прекрасного – чувств и воображения – женским. Характерной стала ориентация на женский вкус, который многие признавали высшим критерием литературы и искусства. Подразумевалось, что женщина, как существо более близкое природе, способна тоньше воспринять все художественное. В России ориентация на "дамский вкус", а особенно на "язык светской дамы" была свойственна творчеству Карамзина и возглавляемому им литературному направлению. Русская салонная культура – так же как и французская – была ориентирована на то, чтобы перевести достижения науки и культуры на общепонятный, естественный "дамский язык".

В то же время для русского салона, который оставался чисто аристократическим, в отличие от французского, была неактуальна идея социального равенства.

Таким образом, мы видим, что черты утопического не настолько были выражены в салоне XVII в., чтобы определить в целом салонную культуру как явление. Перенесенный в другой историко-культурный контекст, салон утратил признаки утопизма. Этот пример лишний раз говорит о том, что к явлению утопизма в культуре нужно подходить с точными мерками, поскольку его границы бывают весьма зыбкими.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лотман Ю.М.* "Езда в остров любви" Триаковского: функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 222–230.
2. *Lloyd G.* The Man of Reason: "Male" and "Female" in Western Philosophy. Minneapolis, 1984.

© 1999 г. *Н.В. ЗЛЫДНЕВА*, канд. искусствоведения

В основу сообщения – "Америка Андрея Платонова" – положена идея о том, что литературный мотив может выступать как свернутый жанр, а внутренняя форма жанра – обнаруживать себя в мотиве. Таким мотивом для утопико-фантастической повести А. Платонова "Эфирный тракт" явилась Америка. Несмотря на периферийность в творчестве мастера, мотив Америки, соприкасаясь с набором наиболее существенных концептов, высвечивает существенные черты идиостиля мастера и свойства его (анти)утопии.

Во всех произведениях, где встречается американская тема ("Рассказ о многих интересных вещах, 1923; повесть "Эфирный тракт", 1927; повесть "Ювенильное море", 1934) Америка обозначена как место, куда едут паломники добывать технические знания, преимущественно связанные с электричеством. Тем самым, Америка выступает как знак цивилизации и солярный символ. В повести "Эфирный тракт" – пограничной в творчестве мастера и сочетающей в себе элементы утопии раннего и антиутопии зрелого периодов, – мотив разработан наиболее полно.

Мотив Америки, отражавший некоторые реалии жизни технической интеллигенции, занимает важное место в советской литературе 20–30-х годов (Маяковский, Пильняк, Зощенко, Горький, Чайнов). В традиционные характеристики утопического локуса – у-топос как город-сад, у-хронос как крайнее время, оппозиция *далекое/близкое* – Америка Платонова вносит свои коррективы. Крайнее время – это *детство (американцы по развитию мозга – двенадцатилетние мальчики [1. С. 187].* За мотивом Америки у Платонова закреплено преимущественное значение сада – инженер Кирпичников едет в Америку, чтобы разузнать технологию выработки розового масла (*в Америке половина земли розами засажена [1. С. 182].* Город обозначен метонимически мотивом *электричества*, его утопическая отгороженность носит природно-мифологическую форму (стихия *огня* = солнца, присвоенная человеком), и потому он лишен урбанистичности, опять же отсылая к саду. Солярность Америки обнаруживает утопическую природу топоса (*в Америке солнце палило жаром [1. С. 188].* *Дальнее (солнце как нерукотворное) и ближнее (электричество как рукотворное) накладываются друг на друга.*

Вместе с тем, оппозиция *дальнее/ближнее* выступает и как тождество. Дальнее – Америка, ближнее – Россия. Между ними устанавливается отношение притяжения-отталкивания. Время создания "Эфирного тракта" совпадает со временем кристаллизации в советском культурном сознании противопоставления – тождества *Америка–Россия*. У Платонова противопоставленность и утопизм этой пары представлены в

одористическом коде: *Россия* – дурной запах в настоящем и благоухание в светлом будущем (*пустая хата пахла не по-людски* [1. С. 181]; *Наша земля сотворена для розы!... Ты погляди, Феодосий, благоухание какое будет – все болезни пропадут!...* [1. С. 181]). Множественность, присущая семантическому полю концепта 'запах' в русском культурно-языковом сознании, многообразно – в соответствии с присущей Платонову амбивалентностью означиваний – разыгрывается в традиционной отсылке к оппозиции *душа/тело* (*благоуханная душа, но бездушность Америки versus зловонное тело, но душевность России* и т.п.). Между тем, между *Америкой* и *Россией* устанавливается и эквивалентность по признаку *сада* (и в Америке, и в России герой встречает *вишневый сад*), и *Россию* поэтому предстает отчасти как реализованная утопия. В сочетании со значимым для Платонова концептом пустоты *Россия versus Америка* концептуализируется как *наполненная (духом) пустота versus пустая полнота: Америка как великолепные плоды земли, которые превращаются в темную глупость* [1. С. 188].

Существенна и еще одна связка пары *Америка/Россия как далекое/близкое* – мотив *возвращения*. Этот мотив входит в корпус топосов, определяющих идиостиль Платонова (сюжет – "Возвращение", круговой пространственный образ – "Джан", мифопоэтический символ – "Река Потудань"), отсылая к кругу федоровских идей воскрешения предков. В связи с темой Америки мотив *возвращения* можно воспринять и как прообраз культурного концепта 70-х годов, во многом определявшим климат советской интеллигенции (проблема невозвращенцев). Более значимым представляется, однако, другой пласт – мотив *поиска земли обетованной*, утопического Беловодья, отсылающий к традиционному для утопии жанру путешествия (ср. роман А. Чайнова (И. Крайнева) "Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии", 1920). Геометрика кругового движения, соединяющего далекое и близкое, отсылает к "Хожению за три моря Афанасия Никитина" с концентрическими окружностями композиционно-смысловой структуры этого произведения (см. Н. Трубецкой). Героя Платонова с Афанасием Никитиным сближает и мотив (религиозного) *одиночества на чужбине*.

Поиск *новой земли для старой веры*, т.е. – *невозвращения* в пространстве с *возвращением* во времени – раскрывает сектантский пласт семантики платоновской Америки, встраиваясь в обусловленность ряда мотивов Платонова идеологией бегунов, духоборцев, молокан и хлыстов. Известно, что в Америку в начале века произошел массовый исход молокан. Утопическая эсхатология Платонова и культурно-исторические реалии определили многослойность концепта 'Америка' в творчестве писателя: *у-топос* и *у-хронос* наложились здесь друг на друга.

Связка *новая земля – старая (или истинная) вера* обнаруживает валентность концепта Америка в отношении мотива *ветхости* – одного из наиболее значимых в топике Платонова. Лексема 'ветхость' у писателя ориентирована на свою первоначальную семантику, т.е., по Далю, *ветхая трава есть прошлогодняя трава*. Концепт *ветхости*, отсылающий к теме *времени*, выстраивается в связи с цикличностью времени и обуславливает концепт *возвращения*. Иными словами, *ветхая Россия* – это тот локус, куда намерен вернуться герой "Эфирного тракта", отправляясь в *новую Америку*. *Ветхое* в данном случае синонимично *старому*.

Семантика *нового* закреплена за концептом 'Америка' как за Новым Светом (*Кирпичников ... собрался в Америку, ища там невиданных новостей жизни* [1. С. 183]). За концептом *нового* в традиционном мышлении закреплена семантика как циклического (с положительными коннотациями), так и линейного (с отрицательными коннотациями) времени. Опираясь на традиционные представления и одновременно инверсируя их, Платонов выстраивает чересполосицу плюсов и минусов *нового* и *старого*. Понятия *ветхого* и *нового*, Старого и Нового Света,

взаимодействуют как противопоставление в тождестве: *линейное новое* наделяется качеством цикличности (Америка, откуда возвращаются), а *старое* (ветхая Россия) – *цикличное* – обретает абсолютное приращение нового качества, линейность (*благоухание какое будет – все болезни пропадут!* Такая прививка *нового к старому* – двуединство Америка–Россия в утопической перспективе.

Циклическо-линейные метаморфозы применительно к *старому* и *новому* свету в творчестве Платонова можно связать с культурологией Шпенглера, которой Платонов был увлечен в годы создания "Эфирного тракта". Однако правдоподобной представляется и аллюзия на Розанова. В своем "Апокалипсисе нашего времени" Розанов, рассуждая о России 1917–1918-х годов как о последних временах, пишет: "Загробная жизнь вся будет состоять из света и пахучести" [2]. **Загробная жизнь** в свете погребального кода, которым отмечены анти-утопии зрелого Платонова – это *у-хронос* России. Загробность России акцентирована и **водной стихией**, которая является составной частью концепта 'Америка' (герой гибнет в океане – водном тракте между Америкой и Россией). По признаку загробности Россия выстраивается как *у-хронос*. Таким образом, *свет и пахучесть* – это то, что будет привнесено в *у-хронос* 'Россия' *у-топосом* 'Америка'.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Платонов А. Собр. соч. М., 1984. Т. 1.
2. Розанов В. Уединенное. М., 1990. С. 409.

© 1999 г. Г.Д. ГАЧЕВ, д-р филол. наук

Два положения собираюсь развить:

1. Что теория КАРНАВАЛА и смеховой культуры, развитая в книге М.М. Бахтина "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса", – утопия его личной жизни и советской действительности 30–40-х годов, когда книга создавалась.

2. Что всякая философская система, и научное построение, и даже частное исследование "к вопросу о..." – есть у-топия, "у-хрония": создает канву своего пространства-времени, где разворачивает порядок идей в некоей нездешности.

Утопия – это всегда контраст тому, что есть в наличном бытии, в Dasein, здесь и теперь, проект идеального устройства бытия по модусу должествования (а не возможности-вероятности, что считается с реальностью, как в позитивизме науки).

И вот в тоталитарном советском социуме, среди страха и казенной официальности, – вдруг теория Карнавала и культуры Смеха, свободного площадного слова, половая разнузданность "материально-телесного низа" среди официального ханжества, обжорство и "пиршественные приношения гастролятров" посреди голода 30-х годов. И при этом с такой мощью ума, широтой знания и пророческим пафосом стиля!..

Где он это видел – Карнавал? Вот ученые Италии, Франции, кто воочию зрят карнавал Римский, Венецианский, Лионский... – никто так не написал: чтоб возвести Карнавал в целое философско-религиозное мировоззрение, что вот заразило последнюю треть ХХ в., и по нотам сей теории и у нас, и в мире играют ныне – там "постмодернисты", "концептуалисты" и проч.

Такое могло сойтись лишь творческой мечтой огромного накала – при антиподности, огромной разности потенциалов между тем, каков человек и как и где он живет, – и тем, что он хочет, хотел бы...

И вот как я себе это представляю в случае с Бахтиным.

Он рос – как головастик, "ботаник" (так на жаргоне школьном ныне отличника-умника обзывают), долихоцефал, вытянутый в Ум и Дух. И был лидер в сугубой серьезности и ответственности мышления, вел кружок в Витебске и семинары религиозно-философские и филологические, и все почти тут преёзшел и перепонял. Так, что даже само мышление понял как поступок ("Философия поступка" – его трактат середины 20-х годов). И (как мне чувствуется) до того завинтил молодой Бахтин свою душу и мысль в серьезности и ответственности, что сам себе стал его ум – деспотом казенности и официальности. И естественно накапливались в нем возмущение и бунт против сего ярма, самоналоженной "епитимьи". Тираническое сознание Супер-Эго (коли по психоанализу...) начало топорщиться в нем, скидываться уже в книге о Достоевском, где автор = "тиран", "бог-отец", монологист, а против него – персонаж, Другой, "сын", со своим словом и свободной волей, автор своего сознания – подпольный человек со словом-"лазейкой". В эту щель-лазейку и ухнул долго спиравмый поток жизни живой в нем: прорвало плотину сугубо умственной жизни и творчества – и витальность его родила книгу о Рабле.

-- Представьте его жизнь: болезненный, с ущемленной телесностью, "с изнеможением в кости", с женой-другом, и непонятно: в реальном ли браке или в полумонашеском "обручничестве", как параллельно Лосев?.. И без рожания детей... Какая сухость, холод и отлученность от Жизни – той простой, ее радостей, что даны каждому простолюдину, а он, умник – обделен, отлучен! Как не взвыть и не восстать на свою прикованность к галере Духа – и на Бога, понимаемого как Дух только и Верх – Небо? А Мать(я), Земля, Низ, Пол-подол?.. Как не заглянуть ПОД – хотя бы воображением, теоретически?

И вот, "земную жизнь пройдя до середины" (примерно в свои 35–38 лет), ломает Бахтин прежний "динамический стереотип" свой – и принимает вниманием и вниканием к Жизни, Матери-и, к Телу, к Женщине. До сих пор ведь все посреди мужского начала Духа и Ума пребывал; даже не преформировал-сублимировал "Вечно Женское" в Прекрасную Даму или Софию, как его старшие – Вл. Соловьев, Блок, Флоренский, С. Булгаков... И тут уж – пустился во все тяжкие: восславил Материально-Телесный Низ, принял умом и всею словесностью своей изошренной облизовать живородное лоно Природы, Матери-и, Бабы, Народа и хороход земледельческого цикла крестьянства – он, сугубый горожанин-урбанист дотеле...

И вот чутьем-интуицией навелся на совершенно точный фокус-полнос всему кругу доселешних занятий-интересов его: его предмет – скабресный охальник Рабле. Обитатель антиподного Святой Руси космоса – Сладкой Франции (la douce France), с ее культурой Эроса. И он, обреченный в келии кабинета обитать, – вот выходит на площадь на никогда не испытанный им и оттого ослепительно манящий – Карнавал!.. О, Карнавал – это Утопия! Идеальное общежитие, как и Коммунизм, как Общее Дело Н. Федорова... Тот утопизм русского "менталитета", что у многих (еще и у А. Платонова одновременно) – в превращенной форме учено-культурологического трактата тут сказался. И – совершенно народная книга эта; если еще атмосферу начала 30-х годов вспомнить: золотая мечта о "молочных реках в кисельных берегах" – в ситуации голода, разгрома деревни – как могли звучать возмутительно бунтарски раблезианские подсчеты умопомрачительного количества снеди и вина, поглощаемых глоткой Гаргантюа и Пантагрюэля = "Всежаждующего"!..

Но далее с Бахтина – я задумался о себе: как я пишу свои исследования? Вон мои "Национальные космоса". Что, я их видел? Нет. Страстно хотел путешествовать, видеть мир, а не пускали в мое время. И я стал путешествовать умом и воображением – и такое яркое видение национальных миров мне представало в ходе чтения и исследования, так фокусировалась оптика, что угадывались главные вещи; и те, кто там жил и видел, читая мое, – соглашаются.

Но так – всегда! Большой психопат Ницше, кто сам и мухи не обидит, малюет

утопию Сверхчеловека; сам боясь подступиться к женщине, пишет: "идя к женщине, бери плетку!" Или Гегель: его система мира – развернутая утопия Духа.

И главное – получается! Что-то прекрасное и достоверное возникает. И где оно? Нигде! – именно так. Дано нам такое измерение бытия, "уровень", куда мы запросто можем переступить, творя "трансцензус", – и там, во вне времени и пространства – создавать свои замки, построения в Духе. Они – неуместны ("у-топия") и не современны ("у-хрония"), хотя и могут быть созвучны...

Есть и манит это незанятое пространство Свободы в Духе – и мы, научные сотрудники, филологи и проч., даже когда ведем частное какое исследование "к вопросу о..." – ГДЕ его делаем? Ум наш нечто малюет, со-ображает – по какому холсту? Некий образ возникает предмета, и для него создается каждый раз свой топос-место – и там мы располагаем свои мысли и факты интерпретируем.

Так что пласт Утопии есть во всяком произведении человеческого творчества в Духе.

Более того: наши представления о себе – тоже некая утопия "я" своего у каждого – и у нас о каждом.

© 1999 г. Е.Е. ЛЕВКИЕВСКАЯ, канд. филол. наук

Прежде всего необходимо уточнить "систему координат", в рамках которой мы собираемся рассматривать проблему утопии. Она интересует нас не с литературоведческой точки зрения (проблема жанра, особенности поэтики и пр.), а с точки зрения прагматики текста. При сравнении фантастических и утопических текстов мы рассматриваем их не как тексты определенной жанровой принадлежности, а как тексты, каждый из которых представляет собой самостоятельное высказывание, имеющее свою иллюзию, определенным образом реализованную.

У нас есть возможность сравнить фильм Тарковского "Сталкер" с лежащей в его основе повестью Стругацких "Пикник на обочине" – текстом, который в своем письменном воплощении функционирует как фантастика, а в кинематографическом – как утопия, вернее – дистопия.

Фантастика и утопия имеют общую основу – моделирование некоего несуществующего, ирреального мира, отделенного от человеческого временем или пространством. Но дальше начинаются принципиальные расхождения.

Во-первых, очевидно, что у фантастики и утопии разные *объекты изучения*. О том, что является *главным объектом изучения фантастики*, наиболее определенно сказал Станислав Лем в своем предисловии к повести "Солярис": «"Солярис" должен был быть ... моделью встречи человечества на его дороге к звездам с явлением неизвестным и непонятым ... и поэтому должен был рассказать совершенно конкретную историю, чтобы через нее выразить одну простую мысль: "Среди звезд нас ждет Неизвестное"» [1]. Объект внимания фантастики – неизвестное – находится вне человека и вне человеческого мира. Моделируются миры (неважно, находятся ли они в будущем или прошлом, на Земле или в космосе), с которыми человеку, возможно, придется столкнуться. Фантастический текст всегда решает один вопрос: если в природе есть формы жизни, неизвестные человечеству, то какими они могут быть и что может принести человечеству встреча с ними? В фантастических текстах проигрываются модели столкновения человечества с иномирным.

Фантастику, так же как и утопию, можно разделить на положительную (когда контакт с предполагаемой внечеловеческой цивилизацией признается благом) и негативную, когда последствия такого контакта для человечества оцениваются отрицательно, или возможность взаимопонимания между человеком и иной цивилизацией считается обреченной на неудачу.

Объектом исследования утопии, независимо от ее разновидности, является человеческое общество, понимаемое, если вспомнить слова Льва Толстого, как "муравейное братство". Главный вопрос утопии – это вопрос о возможности моделирования счастья. Классическая утопия не опускается до отдельной личности как объекта исследования, полагая, что все несчастья отдельного индивида лежат вне его самого – в несправедливо устроенном обществе, поэтому, устранив общественные противоречия и упорядочив все сферы человеческой жизни, вплоть до самых интимных, можно автоматически осчастливить сразу всех. Классическая утопия не видит разницы между проблемой гармонии общественных отношений и проблемой человеческого счастья – для нее это одна и та же проблема. Примером может служить "четвертый сон Веры Павловны". Антиутопия – или, как ее еще называют, негативная утопия – существует не как автономный текст, а как ответ на утопию: не отвергая самого принципа моделирования человеческого общества, она отвергает конкретные рецепты, вводя в качестве объекта изучения человеческую личность, существующую в рамках смоделированного утопией мира. В качестве примера можно привести повесть Николая Федорова "Вечер 2217 года", где автор достаточно точно воспроизводит параметры общества, спроектированного Чернышевским, но, в отличие от него, приходит к прямо противоположному выводу: подобная модель превратит общество в стадо, где личность будет раздавлена. Как реакция на утопические и антиутопические тексты появилась дистопия – тип антиутопии, разоблачающий саму возможность реализации утопии и отвергающий принцип моделирования человеческих отношений как источника человеческого счастья.

У фантастики и утопии, выражаясь языком прагматики, разные иллюкативные цели, а следовательно – разные модальности. Лозунг утопии – это всегда императив, руководство к действию: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью такими-то и такими-то методами". Лозунг антиутопии: "Сказку сделать былью такими методами невозможно". Лозунг дистопии: "Сказку вообще не следует делать былью". Для фантастики характерно сослагательное наклонение: "Если сказку можно сделать былью, то она будет иметь такие-то черты".

В основу и повести Стругацких, и фильма Тарковского положена одна ситуация, наываемая в лингвистике локуцией: на Земле в результате воздействия космических сил появляется очень странное место, называемое Зоной, пребывание в которой губительно для неопытного человека. Зона усилиями властей изолирована от остального мира, но находятся люди – сталкеры, которые посещают это пространство с риском для жизни. В Зоне существует некий объект, называемый в повести Золотым шаром, а в фильме – Комнатой, способный реализовывать сокровенные человеческие желания.

Прежде всего следует обратить внимание на разницу названий: у Стругацких, внимание которых сосредоточено на особенностях самой Зоны, в названии повести отражена одна из гипотез, объясняющих происхождение этого пространства – пикник, устроенный космическими пришельцами на межпланетной обочине – Земле. Доминанта фильма Тарковского – человек с его вечным вопросом о возможности счастья, поэтому фильм называется по профессии главного героя – "проводника к счастью". Принципиально, что герои фильма, в отличие от героев повести Стругацких, вообще не имеют имен (кроме Мартышки, но и Мартышка – не имя, а кличка, в повести ее зовут Мария), а называют друг друга по профессиональной принадлежности: Сталкер, Профессор, Писатель.

Принципиально различны и характеры главных героев повести и фильма. Сталкер Стругацких – мародер, флибустьер, сделавший Зону местом своего заработка. Сталкер Тарковского – юродивый, блаженный, он принципиально бескорыстен, так как не имеет права входить в Зону с корыстной целью.

С точки зрения Стругацких, Зона принципиально неизучаема. Все попытки человека познать иномирное, обречены на провал. Контакт с иномирным способен принести только несчастье: "Боятся, боятся высоколобые... Они должны бояться

даже больше, чем все мы, простые обыватели, вместе взятые. Ведь мы – просто ничего не понимаем, а они, по крайней мере, понимают, до какой степени ничего не понимают" [2. С. 114]. Зона Стругацких – зло, не поддающееся изучению и пониманию, но она отличается от человеческого мира исключительно своими физико-химическими свойствами; она никогда не меняется. Страдания в Зоне носят чисто физический характер – человек может попасть в "ведьмин студень", он может сгинуть в "комариной плещи", его может скрутить в "мясорубке", он может попасть в липкую вонючую жижу или его обожжет нестерпимым зноем. По словам главного героя, "Зона не спрашивает, плохой ты или хороший" [2. С. 25]. Она страшна и дисгармонична. Человеческий мир, конечно, тоже несовершенен, но он, по крайней мере, понятен и привычен, как понятно и предсказуемо зло, исходящее от человека. Земля в повести Стругацких разделена на нашу, человеческую, и не нашу – изгаженную – территорию: "... это была еще наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка, и по этой колючке было видно, как четко Зона себя обозначает" [2. С. 22].

Зона Тарковского красива и гармонична, человеческий мир некрасив и дисгармоничен, он – тюрьма. Сталкер, придя в Зону, произносит: "Ну, вот мы и дома... Это самое тихое место на свете.. Три человека за один день не могут все испоганить". У Стругацких источником "испоганивания" являются пришельцы, у Тарковского – человек.

Стругацкие, будучи фантастами, озабочены традиционной для фантастики проблемой – откуда взялась Зона, как она устроена, познаваема ли она и какая от нее польза человечеству. Роман пронизан дискуссиями о происхождении Зоны, во время которых высказывается ряд гипотез.

Проблема описания ирреального мира решается вполне традиционными для фантастики методами – описанием странных свойств ряда объектов, принадлежащих ирреальному миру.

Для Тарковского происхождение Зоны вообще не релевантно. Гипотеза о ее появлении просто вложена в уста Профессора, который полуиронически объясняет Писателю одну из возможных гипотез – сначала думали, что упал метеорит, потом стали думать, что этот метеорит был не совсем метеорит. А на вопрос Писателя: "Что же это было?" Профессор со спокойной иронией отвечает: Послание человечеству или подарок". Мотив, который в повести Стругацких занимает центральное место, у Тарковского становится не более чем ироническим перифразом.

Тарковский в своем фильме последовательно решает главную задачу классической дистопии – разоблачение иллюзии, что человек способен смоделировать счастье с пользой, если не для всего человечества, то хотя бы для самого себя. Фильм рассказывает о парадоксальной ситуации – двое людей идут в комнату, где исполняются желания, чтобы "заказать" себе счастье и все время говорят о тщетности и опасности искусственных попыток обретения счастья, а когда, наконец, добиваются до этой комнаты, отказываются в нее входить.

Фильм Тарковского, как и положено дистопии, не оставляет камня на камне от утопической мечты о возможности получить счастье "для всех и задаром". Но, в отличие от классических дистопических текстов, "Сталкер" не оставляет ощущения безысходности, поскольку в финале звучит бесконечно близкая Тарковскому тема надежды, вложенная в уста жены Сталкера: "Если не было бы горя, то и счастья тоже не было бы и не было бы надежды". Человек не имеет права на моделирование счастья, но он имеет право на надежду – в этом отличие фильма Тарковского от классической дистопии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лем С. Избранное. Кишинев, 1978. С. 482.
2. Стругацкие А. и Б. Пикник на обочине. М., 1988.

Повесть словенского писателя, литературного критика, публициста Й. Стритара (1836–1923) "Девятая страна" была напечатана в 1878 г. в журнале "Колокол" ("Zvon"), выходившем на словенском языке в Вене под редакцией и при непосредственном участии самого писателя. Этим произведением он ввел в словенскую литературу новый жанр – жанр утопии, открыв тем самым новую страницу в истории словенской культуры.

Уже с первых страниц произведение Й. Стритара построено по образцу "Утопии" Т. Мора (1615), как путешествия в некую удивительную идеальную страну. В этом проявилось стремление словенского писателя настроить читателя на восприятие книги по особым – "утопическим" – законам. Герой Стритара – образованный человек, писатель с символическим именем Негода, что в переводе со словенского может означать человека "никчемного" или "несовершенного". Здесь он выступает в роли некоего "условного" европейца, который, тем не менее, постоянно выдает свое словенское происхождение. Уже в предисловии к повести, обращаясь к редактору, герой говорит о своей мечте – найти ту чудесную Девятую страну, о которой в детстве рассказывала ему бабушка, о которой он мечтал, когда прилежно изучал географию, стремясь встретить это название в ученых книгах, и когда, наконец, почти потеряв надежду, сел на большой корабль и отправился на нем на край света в поисках блаженной страны [1. S. 306, 317]. Как и герои многих подобных произведений, после кораблекрушения Негода чудом остается жив, оказывается на неизвестном острове, где и обретает страну своих мечтаний. Его проводниками-собеседниками в стране счастья оказываются разные люди, очевидная взаимозаменяемость которых, несомненно, свидетельствует о внутреннем духовном родстве и единомыслии всех жителей острова. Все увиденное и услышанное Негода подробно описывает, обращаясь к некоему внимательному слушателю. Роль такого слушателя, конечного адресата информации, которого герой старается не только просветить, но и убедить, в произведении Стритара выполняет "господин редактор", первый читатель и ценитель произведения.

Отметим, что время действия в произведении не маркируется. Вместе с тем, место действия (Девятая страна) имеет определенное, несущее явную смысловую нагрузку название (далекой страны, где согласно народным представлениям текут молочные реки с кисельными берегами), что уже с первых страниц позволяет автору настроить читателя на особое восприятие этого идеального локуса, как средоточия народного, крестьянского счастья. Девятой стране противопоставляется в повести реальный мир и реальное место. "Я узнал, – пишет Негода, – что для жителей острова Европа является тем же, чем для нас – Девятая страна. В баснях, сказках и поговорках они используют ее название, но не так, как мы Девятую страну; ее именем пугают детей!" [1. S. 316]. Однако при этом жители острова проявляли заметное радушие и терпимость в общении с чужаком. Из их рассказов Негода узнает, что попал на большой остров посреди безымянного моря, и оказался в своего рода крестьянской республике, объединяющей сто сельских общин, примерно по сто домов каждая. Королей и императоров здесь нет: правит народ, избирая ежегодно сначала жупана (старосту) каждой отдельной общины, затем уже сто жупанов избирают главу государства, а также совет, который помогает выполнять принятые на общем собрании решения. В шестой главе герой подробно описывает саму процедуру выборов жупана общины, в которой он оказался по воле случая: каждый из присутствующих селян открыто выражает свое мнение о любом из претендентов, смело отмечая отрицательные черты своих соседей, перед тем как выбрать наиболее достойного [1. S. 329].

Можно предположить, что перед нами "утопия первоначальной общинной власти". Польский исследователь Е. Шацкий относит этот тип утопии к утопиям времени,

появившимся, по его мнению, в эпоху романтизма и опиравшимся на мифологические представления у разных славянских народов об изначальном равенстве свободных землепашцев. Как считает ученый, он сыграл "важную роль в формировании демократических идеологий в славянских странах" [2]. Подтверждение этому можно найти и в тексте повести Й. Стритара: существование на острове республиканского правления герой воспринимает как чисто славянскую черту ("Значит, народное правительство имеют жители Девятой страны; вот еще одна славянская черта!") [1. S. 319].

Представив читателю общую картину общественного и государственного устройства этого идеального государства, все остальное внимание герой Стритара посвящает описанию жителей острова. И здесь его интересует все: как они выглядят и во что одеты, что едят и на каком языке разговаривают. Особенно его поражает, что главной строительной ячейкой этого идеального общества является крестьянская семья. Описанию быта семьи и взаимоотношений ее членов писатель посвящает две первые главы произведения. В семье царят гармония и согласие, уважительное отношение к старшим. Кроме того, повсюду видны следы рачительного хозяйствования и домовитости, хотя саму работу в поле, на ферме или в хлеву автор не показывает. Не меньше поразило героя Стритара трогательное и уважительное отношение к гостям, которые считаются старшими в доме, а также особо нежное отношение к детям. Говоря о принципах равноправия, царящих в этом обществе, герой отмечает, что в большой крестьянской семье на равных с хозяевами трудятся работники, к которым относятся как к собственным детям. Все это, как убеждается гость островитян, достигается благодаря тому, что жители Девятой страны живут в гармонии с природой. Возница, ставший временным спутником Негоды, рассказал, что их домашние животные не знают бича и вожжей и прилежно выполняют необходимую для человека работу, пока имеют силы. Объяснение всему этому наш герой находит в системе образования, которая имеет здесь ярко выраженный просветительно-воспитательный характер. Сельский учитель, рассказывая о своей работе, ведет гостя в сад, которому здесь отводится роль главного учителя и воспитателя, и где молодежь получает первые навыки в полеводстве, виноградарстве и садоводстве. Негода видит просторные, светлые классы, где дети изучают не только общие предметы, необходимые им, но познают один из главных предметов жизни, включающий принципы общежития. Наш образованный герой с удивлением узнает, что в основе школьного обучения страны – принципы "практической морали", провозглашенные Ж.Ж. Руссо в его воспитательном романе "Эмиль, или О воспитании". Особое место в образовательном процессе отводится на острове театру. Попав на вечернее представление по случаю большого праздника и восхищаясь увиденным, Негода начинает размышлять о необходимости подобного народного театра у себя на родине. На этом произведение неожиданно прерывается, оставив читателя в недоумении, хотя журнал, напечатанный повесть, выходил в свет еще два года.

Итак, перед нами картина идеального, в представлении автора, государства, включающая легко узнаваемые идеальные модели управления, хозяйствования, труда, образования, быта. Постоянные сравнения с реально существующим миром лишь резко оттеняют положительные, по мысли писателя, особенности жизни идеального острова. При этом достижение подобного справедливого и гармоничного общества возможно лишь благодаря духовному совершенствованию человека, его постоянному стремлению к гармонии с природой. Четко выделены в произведении и средства воспитания: сад, чтение, театр. Все это позволяет, на наш взгляд, рассматривать повесть Й. Стритара как первую попытку создания просветительской утопии на словенском языке, правда, к сожалению, оставшуюся незавершенной.

Начав повествование в роли стороннего наблюдателя, некоего условного европейца, наблюдающего и анализирующего все, что существует в идеальном государстве, сравнивающего общественное устройство Девятой страны с тем, что он оставил за морем, герой Стритара постепенно все более и более превращается в

дидактика, пафос которого направлен на поиски путей преобразования его малой родины – Словении. Рушится созданная писателем оппозиция реального и идеального (Европа – девятая страна). Думается, что здесь можно согласиться с итальянским исследователем А. Петруччани, автором книги "Вымысел и поучение: утопия как литературный жанр" (Рим, 1983), который видит закономерность, согласующуюся со спецификой жанра, в том, что утопия обрывается тогда, когда автору произведения удается достичь динамического равновесия между художественным вымыслом и аргументацией. В случае продолжения рассказа неизбежно одно начало оказалось бы превалирующим, и утопия перестала бы быть самой собой. В качестве примера исследователь приводит роман Г. Уэллса "Современная утопия" (завершающий, по его мнению, развитие жанра утопии), где в финале автор отказывается от вымысла и как бы обращает утопию в ее противоположность (дистопию), и утопию Беллами, где, напротив, последние страницы, скорее, присущи роману, чем утопии [3]. Финал произведения Й. Стритара по стилю повествования, скорее, характерен для литературного фельетона (популярнейшего публицистического жанра того времени), чем утопии, что также нарушает достигнутое равновесие, о котором писал итальянский ученый. Это почувствовал, вероятно, и сам писатель, отказавшись от продолжения повествования, хотя, как считают словенские исследователи, следующие главы были запланированы для более детальной характеристики общественной и религиозной жизни идеального общества [4] и, возможно, автор отказался от своего намерения, не желая вызывать критики и гнева своих оппонентов, как клерикального, так и либерально-демократического лагеря [5].

И еще один вопрос возникает при чтении повести. Почему именно в это время автор обращается к жанру утопии? Как отмечает А.В. Михайлов, "чтобы появлялись утопические картины наилучшего государства или наилучшим образом устроенного мира, необходимо, чтобы человеческое сознание допускало (как идею) изменение действительности, а способы ее изменения не были ему слишком ясны" [6]. Именно так можно охарактеризовать состояние умов в словенских землях во второй половине XIX в., когда здесь шел процесс постепенной поляризации политических сил и формирования различных идеологий. Й. Стритар, один из активных представителей "младословенцев", поборников либеральной идеологии, пытался найти наиболее приемлемый путь для преобразований, хотя характер их осуществления был для него и его сторонников пока еще не ясен. Поэтому, думается, что появление первой "воспитательной утопии" на словенском языке, созданной по образцу многих просветительских утопий, в полной мере соответствовало времени и условиям жизни страны, где она появилась. Опоздав, по классическим меркам, на несколько десятилетий, произведение Стритара явилось своеобразным дополнительным показателем особенностей общественной и культурной жизни Словении, где воздействие "просвещенного" мировосприятия отодвинуло границы этой эпохи до второй половины XIX в., повинувшись своей, особой логике национального развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Stritar J.* Zbrano delo. Četrta knjiga. Ljubljana, 1954.
2. *Шацкий Е.* Утопия и традиция. М., 1990. С. 89.
3. Социокультурные утопии XX в. Выпуск 4. М., 1987. С. 190-191.
4. *Pogačnik J.* Zgodovina slovenskega slovstva. IV zvezek. Realizem. Maribor, 1970. S. 447.
5. *Slodnjak A.* Slovensko slovstvo. Ljubljana, 1968. S. 217.
6. *Михайлов А.В.* Об одной позднепросветительской утопии // Культура эпохи Просвещения. М., 1993. С. 68.

В истории человеческого сознания, наряду с утопиями, заметную роль играют антиутопии, т.е. утопии с обратным знаком. Достаточно видное место они занимают, в частности, в художественной литературе XX в. Предметом осмысления в них, как и в утопиях, является нечастная жизнь человека, а, прежде всего, макропроцессы бытия, судьбы человечества, цивилизации, того или иного социума. Утопии и антиутопии причастны к осмыслению и поискам путей общественного развития, к борьбе соответствующих концепций и ориентаций. В известном смысле они претендуют на прогностически оценочную миссию или же используют форму прогнозов и мысленных экспериментов для заострения проблем и наглядной гиперболизации тех или иных явлений с целью выявления и оценки их потенциала. Но если авторы утопии заняты моделированием идеального общества, то антиутопии, наоборот, предупреждают об опасности или обманчивости тех или иных вариантов развития, выполняя функцию своего рода "оберегов".

Антиутопии далеко не обязательно появляются в виде откликов на литературные же утопии и возникают чаще всего в качестве непосредственной реакции на те или иные процессы и тенденции в самой жизни. Повышенный удельный вес антиутопий в литературе XX в. также в немалой степени находит объяснение в особенностях эпохи войн и революций, изобиловавшей попытками самых радикальных внедрений в макробытие (империалистических, ультрареволюционных и т.д.). Николай Бердяев имел все основания с иронией отметить: "Утопии оказались гораздо более осуществленными, чем казалось раньше. Теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать их окончательного осуществления.., и открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее совершенному и более свободному" [1]. В этой связи авторы антиутопий XX в. часто не ограничиваются философско-футурологическими предостережениями, а соединяют условно притчевое начало с непосредственным обличением носителей дегуманизирующих тенденций в современной реальной жизни. Происходит сращивание философско-притчового начала (столь характерного для эпохи Г. Уэллса, для таких произведений, как "R.U.R" К. Чапека, "Мы" Е. Замятина, "Этот прекрасный новый мир" О. Хаксли) с развернутой сатирой на современность, с обличительно-смеховой, шаржевой, памфлетной стихией, с прямым "цитированием" злободневной действительности, подлинных фактов и событий или созданием узнаваемых "калек" в них. Вспомним такие произведения, как "Война с саламандрами" Чапека, "Скотный двор" и "1984" Д. Оруэлла, "Пирамида" Л. Леонова. Само действие в произведениях этого рода сближено с современностью, уподоблено ей или даже вписано в наши дни.

Одним из средств расширения диапазона антиутопий и обогащения их проблематики и функций является в XX в. одновременное, "гибридное" использование различных жанровых форм и художественных структур. Наглядным примером опять-таки может служить "Война с саламандрами" К. Чапека, произведение не только ярко выраженного жанрового синтеза, но и скользящей жанровой шкалы. Приключенческий жанр, в духе которого выдержано начало романа, перерастает в научно-фантастическое повествование, затем в утопию, которая в свою очередь превращается в философско-сатирическую антиутопию и острый политический памфлет на реальные современные силы зла, дегуманизации жизни, агрессии и войны.

Иногда сатира, ирония, шарж уходят в подтекст, в иносказание, что бывает связано и с необходимостью преодоления цензурно-политических препятствий, особенно в странах с репрессивными режимами. В то же время подобная форма обладает своими специфическими возможностями и средствами художественного воздействия, способностью повышать интеллектуально-творческую активность читателя.

Особый интерес вызывает сейчас многослойная структура антиутопий М.А. Бул-

гакова. В повестях "Роковые яйца" и "Собачье сердце" увлекательное научно-фантастическое повествование о необычном и заманчивом биологическом эксперименте, приводящем к неожиданным и бедственным результатам, носит одновременно характер антиутопии-метафоры, своего рода философской притчи, предостерегающей о пагубности неосмотрительных "хирургических" посягательств на изменение вековых устоев и нравственных традиций. И, наконец, еще глубже лежит третий слой – зашифрованное иносказание о революционных событиях в России, состоящее из целого комплекса аллюзий на конкретные факты и подлинных деятелей – участников этих событий. Этот слой чаще всего ускользает от внимания читателей, так как требует знания кода проникновения в шифр.

Расшифровка запрограммирована в данном случае в самой поэтике и в специфике жанра – так называемого произведения "с ключом". Прочтение "скрытого слоя" булгаковских антиутопий и введения его в читательский обиход – один из существенных аспектов освоения его творчества на данном этапе. И надо сказать, в этом отношении немало уже сделано. Повесть "Роковые яйца", например, сейчас читается совсем не так, как десятилетия назад [2]. Правда, в дилетантских комментариях к произведениям Булгакова за серьезные расшифровки подчас выдаются чисто субъективные коннотации. Но время, видимо, отсеет их и все расставит по своим местам. Исследование "тайнописи" Булгакова, кстати говоря, может оказаться полезным и в более широком плане, так как прослойки скрытых, неявных значений встречаются в творчестве и других писателей, в том числе упоминавшихся Чапека, Е. Замятина, Л. Леонова и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фантастика 2. Антиутопии XX века. М., 1989. С. 132.
2. Соколов Б. Булгаковская энциклопедия. М., 1996. С. 404-414; Никольский С.В. О поэтике скрытых мотивов и неявных значений в антиутопиях братьев Чапеков и М. Булгакова // Славянские литературы. XII Международный съезд славистов (Доклады членов российской делегации.) М., 1998. С. 246-260.



© 1999 г. Н.Н. СТАНКОВ

ОТТО БАУЭР: ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ НА БАЛЛЬХАУЗПЛАЦ

О. Бауэр – один из немногих политических деятелей, оставивших глубокий след в истории дипломатии. Он был государственным секретарем по иностранным делам Австрийской республики в один из самых сложных периодов ее истории, когда новое государство начинало свою жизнь в условиях экономической разрухи, неустановившихся границ, раздираемое сепаратистскими движениями и притязаниями соседей. Это было время, когда Антанта, и в первую очередь, Франция, поддерживавшая молодые славянские государства, пыталась возложить вину старой Австро-Венгрии за то, что завершившуюся войну на Австрийскую республику, предъявляя ей обременительные условия мирного договора. С другой стороны, тогда же на Австрию оказывало большое влияние коммунистическое движение, особенно венгерская и баварская революции. Молодая Австрийская республика, как писал О. Бауэр, оказалась "между империализмом и большевизмом".

Назначение Бауэра состоялось при весьма скорбных для него обстоятельствах: 11 ноября 1918 г. умер занимавший этот пост Виктор Адлер – один из создателей и лидеров австрийской социал-демократической партии. Несмотря на большую разницу в возрасте В. Адлер и О. Бауэр были друзьями. Под покровительством Адлера Бауэр сделал первые шаги в большой политике и многому у него научился. Совсем молодым Бауэр стал одним из крупнейших теоретиков австрийской социал-демократии, опубликовал ряд монографий и статей по национальному вопросу [1–6]. Сам В. Адлер и сделал Бауэра своим преемником на посту главы внешнеполитического ведомства, назначив его незадолго до смерти своим заместителем [7. S. 81].

Однако по свидетельствам иностранных дипломатов, выбор оказался не самым удачным, так как Бауэр, по их мнению, совершенно не владел традиционными приемами дипломатического искусства. Руководитель британской военной миссии в Вене Томас Канингем вспоминал, что австрийский государственный секретарь по иностранным делам не отличался изобретательностью по части поиска компромисса и взаимоприемлемых формул: "Бауэр вообще не искал никаких формул, он излагал правду как он ее понимал, не искажая и не приукрашивая. Он так поклонялся правде, что у него никогда не было опасности стать популярным политиком" [8]. Этот спокойный, скромный, даже робкий, невысокого роста человек, сын текстильного фабриканта, с юных лет примкнувший к социалистическому движению, даже своим внешним видом разрушал существовавшие в старой Европе представления о дипломате, как элегантно щеголе из аристократической фамилии [9; 10. S. 32]. Но иными мотивами руководствовался В. Адлер, остановив свой выбор на Бауэре. По мнению В. Адлера, О. Бауэр, последовательно отстаивавший права народов Австро-Венгрии на национальное самоопределение, был наиболее подходящей фигурой для руковод-

Станков Николай Николаевич – канд. ист. наук, доцент Волгоградского государственного университета.

ства новой внешней политикой Немецкой Австрии, которая в условиях распада империи Габсбургов могла основываться только на принципах самоопределения народов.

О. Бауэр одним из первых в рядах австрийской социал-демократии понял, что необходимо отказаться от Брюннской национальной программы 1899 г., предусматривавшей преобразование Австро-Венгрии в федеративное государство свободных народов. Вернувшись в Вену в сентябре 1917 г. из русского плена, он увидел, что страна находится накануне революции, в ходе которой лозунгом федерализации воспользуется контрреволюция против национальных движений славянских народов, борющихся за свою полную независимость. Эти размышления привели Бауэра к выводу о необходимости подготовки австрийскими социал-демократами новой программы по национальному вопросу, чтобы с началом революции они признали за всеми славянскими народами право на самоопределение и требовали предоставления такого же права для австрийских немцев. "Если славяне осуществят свое единство и свободу, то мы должны осуществить свободу и единство немецко-австрийского народа путем включения Немецкой Австрии в состав Германии", – писал Бауэр. Он был глубоко убежден, что за национальной революцией в Австрии должна последовать социалистическая революция: "Если национальная революция славян приведет к распаду империи, мы должны будем использовать революционный кризис для дела социальной революции, мы должны тогда свергнуть на нашей территории династию, создать у себя демократическую республику и на ее базисе начать борьбу за социализм" [11. С. 60].

Чтобы идеологически подготовить партию для выполнения этих задач, О. Бауэр взялся за разработку новой национальной программы. В январе 1918 г. она была принята левыми социал-демократами [12. S. 947–954]. Как писал позже Бауэр, новая программа развивала тезис Ф. Энгельса о том, что "первая фаза этой европейской революции приведет к распаду Австрии и к объединению ее немецких областей с Германией, предоставив свободу всем ее остальным национальностям" [11. С. 50]. "В старой Европе это было невозможно, но в новой Европе, когда все народы станут свободными, возможно осуществление программы, с которой еще в 1848 г. выступали Маркс и Энгельс". В новой Европе, подчеркивал Бауэр, все "свободные национальные государства объединятся вместе в большой союз народов, объемлющий все человечество" [13].

Как только в октябре 1918 г. в Австро-Венгрии созрела революционная ситуация, которую левые социал-демократы сочли благоприятной для проведения своей национальной программы, они начали соответствующую пропаганду. С 13 октября Бауэр в "Arbeiter Zeitung" начал печатать серию статей, обосновывая идею аншлюса [13–15]. Эти публикации вызвали живой интерес в обществе. Общегерманский республиканский идеал, воодушевлявший немецких и австрийских революционеров в 1848–1849 гг. и казавшийся еще совсем недавно недостижимой утопией, стал вполне осязаем и начал воплощаться в политическую действительность. Во всяком случае так считал Бауэр и смог в этом убедить большинство социал-демократической партии. Вне партии Бауэра поддерживали интеллигенция и значительная часть офицерского корпуса. "Влияние Отто Бауэра в эти дни было очень большим", – вспоминал Ю. Дойч [16. S. 10]. Правда, сам Бауэр позже писал, что рабочий класс Немецкой Австрии мысль о присоединении к Германии встретил вначале "весьма холодно". Только с началом революции в Германии 9 ноября 1918 г., которая смела кайзеровский режим, рабочие Австрии поддержали идею воссоединения: Как писал Бауэр, "лишь тогда рабочие массы поняли, что большая, высоко развитая в промышленном отношении Германия создаст значительно более благоприятные условия для борьбы за социализм, чем маленькая, находящаяся в полной зависимости от соседних стран и сама наполовину аграрная Немецкая Австрия" [11. С. 99]. Но не только из идеологических мотивов исходил Бауэр, обосновывая необходимость присоединения Австрии к Германии. Уже с самого начала революции он понял, что Немецкая Австрия, опираясь лишь на собственные силы, не может противостоять соседним государствам

в национальных и территориальных спорах и, прежде всего, в вопросе о немецком населении в северных областях Чехии, Моравии и Силезии, которое, будучи отделенным от австрийских земель Чехословакией, имело лишь один выбор: либо подчиниться власти Праги, либо войти в состав объединенного австро-германского государства [17. S. 146, 149–150].

Важным доводом в пользу аншлюса, как вспоминал О. Бауэр, был полный развал экономики Немецкой Австрии, незамедлительно последовавший за распадом империи. Новые государства сразу же прекратили поставки продовольствия и топлива, что привело к голоду и остановке промышленности в Немецкой Австрии. По убеждению Бауэра, самостоятельное существование республики ставило ее "в полную зависимость от национальных государств. Лишь поддержка экономически мощной Германии могла укрепить хозяйственные позиции Немецкой Австрии в отношении соседних государств и могла облегчить необходимое переустройство немецко-австрийского народного хозяйства" [11. С. 98–99].

Поэтому, когда 12 ноября 1918 г. О. Бауэр возглавил внешнеполитическое ведомство Австрийской республики, своей главной целью он поставил расчистить путь для ее объединения с Германией [18. S. 3, 16]. В принятом в тот же день Национальным собранием законе о форме государства подчеркивалось: "Немецкая Австрия является составной частью Германской республики". Уведомляя об этом 13 ноября Берлин, Бауэр писал: "Этим решением своего временного парламента Немецкая Австрия проявила свою волю к объединению с другими германскими племенами, от которых она была насильственно отлучена 52 года тому назад" (цит. по: [19. С. 166–167]). Бауэр предлагал немедленно приступить к переговорам об объединении, не дожидаясь подписания мирного договора.

С этой целью он назначил в Берлин полномочным представителем Австрийской республики убежденного сторонника аншлюса профессора Венского университета Людо Хартмана, который, вручая 28 ноября на Вильгельмштрассе верительные грамоты, изложил задачи своей миссии. Но в Берлине весьма сдержанно отнеслись к предложению. Статс-секретарь МИД В. Зольф, хотя и сказал Хартману, что идея аншлюса вызывает воодушевление в Германии и заверял, что правительство будет содействовать этим устремлениям, однако отметил, что из тактических соображений энтузиазм необходимо сдерживать. Преждевременным присоединением Австрии к Германии может воспользоваться Франция, чтобы на предстоящей мирной конференции предъявить чрезмерные требования территориальной компенсации [20. S. 72–73].

Между тем Бауэр возлагал на скорое воссоединение большие надежды. В противном случае возникала угроза для немецких провинций в чешских землях – Дойчбемен, Судетенланд, Бемервальдгау, Дойчаюдмерен, которые австрийское Национальное собрание 22 ноября приняло в состав Немецкой Австрии. Причем судьба двух самых крупных из них – Дойчбемен и Судетенланд – непосредственно зависела от скорости воссоединения с Германией, так как они не имели общей границы с Австрией.

Положение усугублялось тем, что Прага не намерена была уступать эти территории. Она рассматривала их как часть земель чешской короны. Поэтому в середине ноября чехословацкие войска выступили против немецких провинций и, почти не встретив сопротивления, к исходу 1918 г. заняли все пограничные области. Вена, опасаясь интервенции Антанты, не решилась направить туда регулярную армию. Но и без того австро-чехословацкий конфликт принял весьма острый характер, причиной чему послужило отправление в Дойчаюдмерен нескольких отрядов австрийских добровольцев. Только благодаря личной дружбе Бауэра с чехословацким представителем в Вене В. Тусаром удалось избежать серьезных военных столкновений [11. С. 129].

Однако это не означало, что Бауэр смирился с потерей немецких провинций. Напротив, он потребовал, чтобы вопрос о спорных областях был решен путем референдума под нейтральным контролем [11. С. 128]. Но государства Антанты

отклонили данное предложение. Не последнюю роль в таком исходе дела сыграл министр иностранных дел Чехословакии Э. Бенеш, стремившийся всеми способами обосновать целостность и неделимость земель чешской короны и использовавшего с этой целью все средства, вплоть до дискредитации личности О. Бауэра в глазах союзников. В частности, Бенеш уверял французского представителя Ж. Камбона, будто Бауэр в 1917 г. участвовал в большевистской революции в Петрограде и теперь пытается применить террористические методы и в других государствах [21. С. 181]. В действительности утверждение Э. Бенеша было безосновательным. В октябрьской революции Бауэр не участвовал. В Вену он вернулся из русского плена в сентябре 1917 г. Перед возвращением на родину летом 1917 г. Бауэр посетил Петроград, где некоторое время гостил у Л. Мартова и сблизился с Ф. Даном, Р. Абрамовичем и другими "меньшевиками-интернационалистами" [22].

В разгар спора об австро-чехословацкой границе разразился вооруженный конфликт на границе с Югославией. В ноябре 1918 г. словенские войска генерала Майстра перешли Драву, заняли часть Нижней Штирии, города Марбург, Радкерсбург, Фелькермаркт и начали готовиться к наступлению на Клагенфурт. Однако здесь, защищая свои южные границы, Австрия смогла оказать более значительное сопротивление, чем на севере в борьбе против чехословацких войск. К середине января 1919 г. каринтийская народная армия освободила Каринтию и, прогнав словенские войска за Драву, взяла город Ферлах. Словенская оккупация была ограничена юго-восточной частью страны и Фелькермарктом. Но и после этих побед О. Бауэр понимал, что военные успехи Австрии преходящи. Он знал, что, если на помощь словенским формированиям Майстра придет регулярная сербская армия, закалившаяся в первой мировой войне, положение резко изменится не в пользу Австрии. Тем более, что Белград не скрывал своих притязаний на Клагенфурт и значительную часть Каринтии и готовился к наступлению. Бауэр пытался заручиться в этом вопросе поддержкой великих держав, прежде всего США и Италии. Но, несмотря на это, избежать вооруженного столкновения с Королевством сербов, хорватов и словенцев не удалось. 29 апреля 1919 г. югославская армия возобновила военные действия, которые, несмотря на частные успехи австрийских войск, в конечном итоге закончились победой Белграда. 6 июля Клагенфурт был занят югославскими войсками [11. С. 131–132; 16.С. 71–77].

Одновременно с внешней опасностью австрийские власти столкнулись с проблемой сепаратизма в альпийских провинциях, особенно Тироле. 26 октября 1918 г. депутаты Имперского совета и ландтага от Немецкого Тироля образовали областное собрание и избрали Тирольский национальный совет, который 1 ноября объявил, что он представляет "всю гражданскую и военную власть Немецкого Тироля" и фактически начал проводить самостоятельную внешнюю политику. 21 ноября Тирольское областное собрание декларировало свою полную независимость, а в начале 1919 г. направило в Берн свою делегацию для переговоров с представителями Антанты о независимости. Тирольский национальный совет надеялся, что отделившись от Немецкой Австрии, ему удастся добиться расположения Антанты на мирной конференции и сохранения единства провинции. Бауэр осуждал тирольских сепаратистов и их попытки вести самостоятельную внешнюю политику. По его мнению, в тирольском движении за независимость проявились классовые противоречия: «Мелкобуржуазный крестьянский Тироль обратился против "красной" Вены». Пример Тироля повлиял на другие альпийские провинции. Движение за независимость охватило Каринтию и Форарльберг. "Крестьянско-буржуазное большинство повсюду отстаивало независимость областей от пролетарской Вены", – писал Бауэр [11. С. 105].

Нарастание сепаратизма в альпийских провинциях вело к разрыву экономических связей в Немецкой Австрии, к дальнейшему разрушению ее народного хозяйства, что не могло не сказаться на жизни простых людей, особенно в столице. Зимой 1918/19 г. Вена осталась без топлива и продовольствия. Горожане голодали. Многим венцам

удалось пережить ту зиму только благодаря продовольственной помощи США. О. Бауэр писал в мемуарах: "То, что сегодня получалось, назавтра же съедалось. Если бы Гувер приостановил высылку продовольствия всего на несколько дней, мы остались бы без хлеба и без муки" [11. С. 116].

Но обрушившиеся одна за другой неудачи лишь еще больше укрепили Бауэра в убеждении, что только путем присоединения к Германии Немецкая Австрия сможет выжить и защитить свои интересы. Он был также глубоко убежден, что, присоединившись к охваченной революцией Германии, Австрия вступит на путь социализма. В брошюре "Путь к социализму", изданной в начале 1919 г., Бауэр писал: "Присоединение к Германии расчищает нам путь к социализму. Оно является первой предпосылкой для осуществления социализма. Поэтому в нашей стране борьбу за социализм следует вести прежде всего, как борьбу за присоединение к Германии" [23].

Еще больше воодушевила О. Бауэра на борьбу за аншлюс поддержка со стороны нового министра иностранных дел Германии графа Ульриха фон Брокдорф-Рантцау. Теперь Берлин изменил свое отношение к аншлюсу, что объяснялось настойчивыми попытками Антанты, особенно Франции, воспрепятствовать этому и создать с участием Австрии и других государств-преемников империи Габсбургов "антигерманский барьер" в лице Дунайской федерации. Эти планы вызвали поддержку некоторых сил в Австрии. Брокдорф-Рантцау, понимая, что такое развитие событий может привести к ослаблению, а, возможно, и к разрушению австро-германских связей и к углублению дипломатической изоляции Германии, выступил с рядом заявлений в поддержку идеи аншлюса. Он обвинил Францию и ее союзников в неуважении волеизъявления немецко-австрийского народа, его права на самоопределение, которое предусматривает не только право на создание собственного государства, но и свободу объединения с Германией. Брокдорф-Рантцау подчеркивал, что эта идея имеет глубокие корни, и объединение Германии с Немецкой Австрией, создание государства всех немцев является жизненной необходимостью [24].

6 февраля 1919 г. Национальное собрание Германии, в первый же день своей работы, поддержало идею объединения. В состав Государственного совета Германии был приглашен австрийский посланник в Берлине Л. Хартман. Проект германской конституции, предложенный Веймарскому Учредительному собранию Г. Прейсом, оставлял открытым вопрос о присоединении Немецкой Австрии к Германии и о включении ее представителей в германский парламент [11. С. 139–140; 25. С. 314–315]. Этими заявлениями и действиями Берлин демонстрировал свою солидарность с Веной, поддерживая тем самым прогерманские настроения среди австрийских немцев.

Бауэр хорошо понимал демонстративный характер поступков Берлина и, стремясь к фактическому включению Австрии в состав Германии, считал необходимым принять меры в области экономического объединения двух стран, прежде всего, введя единую валюту. Удобный случай не замедлил представиться, так как Королевство сербов, хорватов и словенцев и Чехословакия произвели штемпелевание имевшихся у них крон и тем самым разрушили финансовое единство государств-преемников бывшей империи Габсбургов. Австрийское правительство решило ответить на эти действия не введением собственной новой валюты, а переходом на германскую валюту. Для обсуждения этого вопроса в конце февраля 1919 г. Бауэр отправился в Берлин и Веймар.

Однако германское правительство к сожалению Бауэра не согласилось с его предложением начать объединение и поставить западные державы перед совершившимся фактом еще до завершения мирной конференции. Правда, в то же время Брокдорф-Рантцау был обеспокоен сообщением Бауэра о попытках Антанты вдохнуть жизнь в проект Дунайской федерации, в связи с чем на Австрию оказывалось давление. Брокдорф-Рантцау был также озадачен заявлением Бауэра о его намерении в ближайшее время уйти в отставку, хотя последний и уверял, что курс Австрии в отношении Германии останется неизменным, независимо от личности главы внешнеполитического ведомства [20. S. 260–262].

Очевидно, под впечатлением этих сообщений Брокдорф-Рантцау 2 марта 1919 г. заключил с Бауэром секретный договор, предусматривавший присоединение Немецкой Австрии к Германии в том случае, если мирный договор не запретит аншлюс. Бауэр отмечал, что "этот договор был очень благоприятен для Немецкой Австрии". В случае присоединения к Германии она в таможенном отношении сохранила бы право взимать в течение нескольких лет внутреннюю пошлину на товары германской промышленности в целях защиты своей промышленности, в то время как австрийские изделия могли бы ввозиться в Германию беспошлинно. В случае аншлюса большая часть австрийских военных долгов была бы перенесена на Германию. Но именно это и было одной из причин, не допускавших опубликование договора, иначе Антанта могла бы перенести все военные долги старой Австрии на Австрийскую республику. Австро-германский договор приходилось также держать в тайне и из опасения, что Антанта, узнав о нем, включит в мирный договор условия, которые сделали бы невозможным присоединение Австрии к Германии [11. С. 140–141].

По возвращении Бауэра в Вену австрийское правительство назначило комиссию для изучения правовых вопросов, связанных с осуществлением аншлюса. Такая же комиссия была создана в Берлине.

12 марта 1919 г. Бауэр сделал доклад о своей поездке в Германию на заседании Национального собрания Австрии. Он сообщил, что ближайшей целью Немецкой Австрии является ее вступление в германскую таможенную территорию, что уже в марте должны начать работу австро-германские двусторонние комиссии по вопросам права, просвещения, экономики, транспорта и др. Особая комиссия должна была определить положение Вены после присоединения к Германии. В резолюции по докладу Бауэра Национальное собрание вновь подтвердило свое решение от 12 ноября 1918 г. о том, что Австрия является "составной частью Германской республики". Но при этом Бауэр отдавал себе отчет в том, что "окончательное решение об объединении могла вынести только мирная конференция в мирных договорах", и поэтому он считал своей первоочередной обязанностью повлиять на мирную конференцию, чтобы она не создавала препятствий на этом пути [19. С. 195; 26].

Наиболее непримиримым противником аншлюса была Франция, которая всячески стремилась ослабить позиции Германии в Европе и не могла допустить ее территориального приращения. Кроме того, в результате аншлюса резко ухудшилось бы стратегическое положение союзниц Франции – Чехословакии и Югославии. Поэтому в Париже оставались глухи к требованиям австрийских немцев о национальном самоопределении. Зная это, Бауэр больше полагался в достижении своих целей на США, Италию и Великобританию, в первую очередь рассчитывая на поддержку президента В. Вильсона, декларировавшего права на самоопределение наций, и тех американских политиков, которые считали присоединение Немецкой Австрии к Германии неизбежным следствием распада империи Габсбургов [11. С. 141–142; 27. С. 155; 28. С. 144–147]. Италия считала распад империи Габсбургов плодом своей победы и опасалась ее реставрации. В Риме боялись, что такая реставрация может произойти под вывеской Дунайской федерации, в которой Австрия стала бы мостом, соединяющим Чехословакию и Югославию. В случае же присоединения Австрии к Германии создание Дунайской Федерации или другие планы восстановления Габсбургской монархии стали бы невозможны [11. С. 142]. Бауэр также надеялся, что Австрии удастся воспользоваться в своих интересах англо-французскими противоречиями, обострившимися в марте – апреле 1919 г. На Ллойд Джорджа неприятное впечатление произвела мартовская революция в Венгрии, и он опасался, что Германия, если ей будет угрожать неприемлемый мир, бросится в объятия большевизма. Он также не исключал возможности распространения большевизма из Венгрии на Немецкую Австрию. "Разве нельзя было предполагать, – писал Бауэр, – что Ллойд Джордж будет содействовать заключению мирного договора, который разрешит нам присоединение к Германии, для того чтобы мы этот мир предпочли национально-большевистскому восстанию против Антанты". Бауэр полагал, что если Великобри-

тания не сможет противостоять территориальным претензиям Франции и Польши, то попытается предложить Германии компенсацию на юге, чтобы убедить германский народ в том, что несмотря на всю суровость, мир все же справедлив, так как допускает право на самоопределение не только тогда, когда оно идет вразрез с интересами Германии [11. С. 142–143]. Спустя несколько лет, читая мемуары А. Тардье, Бауэр смог убедиться в правильности своих предположений. В течение трех месяцев Великобритании и США "колебались и дискутировали разрешить Немецкой Австрии присоединиться к Германии или нет" [29. С. 139].

Однако сама Австрия не могла оказать непосредственного воздействия на решения Парижской мирной конференции, так как не имела туда доступа. В этих условиях Бауэр вынужден был прибегнуть к широкой агитации. Вместе со своими сторонниками он стремился повлиять на общественное мнение и официальные круги Запада и убедить участников конференции, что "присоединение Немецкой Австрии к Германии есть единственный возможный исход, который может спасти Австрию от экономической катастрофы и связанных с ней тяжелых социальных потрясений и опасностей войны для всей Центральной Европы" [11. С. 142–143]. Бауэр считал необходимым показать, что "борьба за объединение с Германией опирается на общее убеждение всего немецко-австрийского народа, на его единодушное желание" [11. С. 142–143].

Большие надежды Бауэр возлагал на поддержку социал-демократов других стран, в первую очередь французских. Накануне открытия мирной конференции он обратился к одному из лидеров французской социалистической партии Жану Лонге с просьбой поддержать Вену в деле австро-германского объединения, сделать соответствующие заявления в прессе и парламенте. Понимая деликатность своей просьбы, задевающей национальные чувства французов, Бауэр особый акцент сделал на классовую солидарность, уверяя, что аншлюс Австрии будет способствовать победе социализма [30].

Французское правительство, встревоженное активной деятельностью Бауэра, предприняло ответные меры. В марте 1919 г. Париж назначил посланником в Вену Анри Аллизе, обладавшего тринадцатилетним опытом работы в Германии и считавшегося знатоком стиля и методов германской дипломатии. Перед ним была поставлена задача любыми средствами воспрепятствовать объединению Германии и Австрии до подписания мирных договоров [31. Р. 50]. С первых дней своего пребывания в Вене Аллизе старался выявить противников аншлюса и установить с ними отношения. Он и его сотрудники встречались с представителями различных политических партий, деловых кругов, прессы. Играя на патриотических чувствах австрийцев, французские дипломаты уверяли, что Антанта создаст стране условия, которые позволят ей сохранить свою независимость и свободу [31. Р. 57–60].

Следует отметить, что Аллизе не составило большого труда найти в Вене противников австро-германского объединения, поскольку единства в вопросе об аншлюсе не было даже в самой социал-демократической партии. Правым социал-демократам во главе с канцлером республики К. Реннером была ближе идея Дунайской федерации [7. С. 17, 21]. Против объединения с Германией выступали христианские социалисты, опасавшиеся ущемления австрийских интересов и падения Вены до положения провинциального местечка. На путях Дунайской федерации они надеялись не только вернуть Австрии утраченное политическое влияние в Центральной Европе, но и восстановить монархию [20. С. 89, 137]. Против аншлюса выступали и альпийские провинции. 12 марта 1919 г. тирольские депутаты в Национальном собрании протестовали против подтверждения решения о присоединении к Германии. Они рассчитывали, что, если Немецкий Тироль не присоединится к Германии, то легче будет избежать его аннексии Италией. Подобные настроения господствовали и в населенной словенцами и немцами Каринтии, выступившей против присоединения как к королевской Югославии, так и против подчинения Австрии или Германии. Там развернулось движение за независимость провинции: "Каринтия – каринтийцам" [11. С. 144–145]. Крошечная провинция Форарльберг также была против аншлюса. Во

время референдума 11 мая 1919 г. большинство ее населения высказалось за присоединение к Швейцарии. Местное правительство начало переговоры с официальными кругами в Берне о включении Форарльберга в Швейцарскую конфедерацию. Правда, переговоры завершились неудачно, так как французские швейцарцы опасались усиления в конфедерации немецкого элемента [32. P. 87; 33. S. 88–89].

Париж использовал эти обстоятельства. Информация, полученная Аллизе от оппозиции, была использована против австрийского правительства на Парижской мирной конференции, где французские делегаты заявили, что присоединения Австрии к Германии добиваются лишь левые социал-демократы и пангерманцы, и что большая часть населения против аншлюса [11. С. 145–146; 31. P. 85–86]. В целях пропаганды Аллизе также умело использовал враждебно настроенную к Бауэру австрийскую прессу, на страницах которой с его подачи сообщалось, что в том случае, если Немецкая Австрия откажется от присоединения, она сохранит спорные пограничные области в Тироле, Каринтии, Нижней Штирии, Южной Чехии и Моравии и достигнет более благоприятных условий мира, чем Германия. Такая пропаганда укрепляла ряды противников аншлюса [11. С. 145]. В либеральной и христианско-социалистической прессе усилилась критика Бауэра [11. С. 147]. Его положение день ото дня становилось все более шатким.

Еще больше оно осложнилось после мартовской революции в Венгрии. Венгерская революция вызвала сочувствие австрийских рабочих. Они нелегально переправляли через границу оружие для венгерской Красной Армии. В начале апреля 4-й батальон фольксвера самовольно отправился в Венгрию и сражался на стороне революционной Венгрии. Австрийское правительство, опасаясь новых конфликтов с Антантой, дистанцировалось от этих действий, но в то же время оно отказалось участвовать в блокаде Советской Венгрии, не прерывало дипломатических отношений с ней и предоставляло посильную экономическую помощь. Австрийский посланник барон Ханс Кноблох оставался в Будапеште, а в конце марта Вена приняла посланника Венгерской Советской республики Э. Болгара и торгового полпреда А. Фенье.

Принимая решение о поддержке Советской Венгрии (ВСР), Бауэр надеялся решить в пользу Австрии вопрос о Бургенланде. Он считал, что при советской власти шансы Австрии в западновенгерском вопросе будут более благоприятны, чем при правительстве, ориентирующемся на Антанту. Бауэр также рассчитывал заключить с ВСР соглашение о поставках Австрии продовольствия. Кроме того, он опасался, что свержение советского правительства в Венгрии будет иметь негативные последствия для Австрии, облегчив "Антанте возможность принудить ее войти в Дунайскую федерацию, что сделало бы невозможным аншлюс в настоящий момент и затруднило бы его в будущем". Бауэр был обеспокоен также тем, что падение советского правительства в Венгрии вызовет подъем контрреволюционного движения в Австрии и создаст опасность гражданской войны [34].

Вместе с тем он считал недопустимым, чтобы Советская Венгрия оказывала какое-либо влияние на внутренние дела Австрии. А такая опасность существовала, так как венгерское правительство и, в частности, нарком иностранных дел Бела Кун возлагали большие надежды на то, что австрийские социал-демократы последуют примеру венгров и объявят в Немецкой Австрии советскую республику. Бауэр в письме к Б. Куну от 16 июня подчеркнул, что "диктатура пролетариата в нашей стране в настоящее время невозможна". Он пытался убедить Куна в том, что даже если бы удалось провозгласить Австрию советской республикой, ее власть не распространялась бы дальше Вены и промышленной области. Аграрные провинции не приняли бы диктатуру пролетариата. Через короткий срок советская республика неизбежно была бы раздвлена внутренней контрреволюцией, силами Антанты и соседних государств, которые прекратили бы поставки угля и продовольствия. В отличие от Б. Куна, Бауэр был убежден в том, что в случае пролетарского восстания в Австрии ни Немецкая Богемия, ни Германия не смогут оказать ей военную помощь. В Немецкой Богемии чехословацкие власти не допустят вооруженного восстания. А

Берлин не решится на военные действия в защиту Австрии, поскольку они заранее обречены на неудачу и чреватые серьезными политическими последствиями: Антанта своим наступлением на Эгер легко расщепит Германию на две части – Северную и Южную и предложит южногерманской федерации особые условия мира. В итоге попытка провозглашения советской республики в Австрии, уверял Бауэр, неизбежно закончилась бы оккупацией ее территории войсками Антанты, а затем и подавлением венгерской революции [35].

Б. Кун таким ответом удовлетворен не был. В отказе Бауэра он видел лишь нежелание идти по пути углубления австрийской революции. И Кун начал борьбу против правительства Австрии. Венгерское посольство в Вене стало центром коммунистической агитации, оказывало разнообразную помощь австрийским коммунистам. Коммунистическая пропаганда уверяла рабочих, что Венгрия имеет достаточные запасы продовольствия, способные удовлетворить нужды Австрии, и что Красная армия Советской России в скором времени перейдет Карпаты и, объединившись с венгерскими войсками, обеспечит победу социалистической революции во всей Центральной Европе. Эта пропаганда падала на благодатную почву в среде измученных нуждой австрийских рабочих. Прокоммунистические настроения особенно усилились под впечатлением побед венгерской Красной армии. В конце мая – начале июня 1919 г., разбив чехословацкие войска, она заняла значительную часть Словакии и там была провозглашена советская республика. В связи с этой победой Советская Венгрия усилила давление и на Австрию. "Эмиссары Бела Куна пытались организовать в Австрии путч", – вспоминал Бауэр [11. С. 148].

Одновременно на австрийское правительство усилила давление Франция, которая требовала поставить теснимой венграми Чехословакии вооружение и боеприпасы. Вена, как писал Бауэр, оказалась в двусмысленном положении: отказ неизбежно привел бы к ухудшению отношений с ЧСР и Антантой, а поставки вызвали бы усиление активности австрийских коммунистов [36]. В конце концов выход был найден. Военное снаряжение для чехов было поставлено, но не напрямую, а через Инсбрук, что заняло очень много времени. "Мы таким образом были уверены, – писал Бауэр, – что они не придут в Чехословакию своевременно, и что они не повлияют там на исход борьбы" [11. С. 148].

Париж был возмущен действиями австрийского правительства. Во французской прессе усилилась критика О. Бауэра, теперь на страницах парижских газет он предстал как "чрезвычайно опасный большевик, присланный Лениным и Троцким, чтобы осуществить аншлюс", угрожая общественному спокойствию в Центральной Европе [18. С. 8].

В конфликте с Францией, учитывая итало-югославскую вражду, Бауэр пытался опереться на Рим в споре с Белградом, и Италия поддержала австрийские притязания на Каринтию, Марбург и Радкерсбург. Однако у Вены были претензии на немецкие области Южного Тироля и они привели к разногласиям с Римом. В решении тирольского вопроса Бауэр возлагал надежды на помощь президента США В. Вильсона, но они не оправдались. Президент, добившись передачи югославянских земель на Адриатике Королевству сербов, хорватов и словенцев, не желал усугублять конфликт с Италией из-за немецких областей в Южном Тироле [27. С. 340]. Тогда Бауэр решил вступить в прямые переговоры с Римом с целью как-то урегулировать южнотирольский вопрос и заручиться поддержкой хотя бы одной державы-победительницы на мирной конференции. Поскольку Рим обосновывал аннексию Немецкого Тироля стратегическими соображениями, Бауэр предложил, чтобы Немецкий Тироль, оставаясь австрийским, в военном отношении был нейтрализован, а Италия получила бы широкие военные права на территории вплоть до Бреннера. Кроме того, в качестве компенсации за отказ от Немецкого Тироля Италия предлагалась экономические уступки. Пытаясь завязать контакты в Римом, Бауэр еще не знал, что итальянцы уже договорились с Вильсоном о линии итало-австрийской границы и, заполучив Южный Тироль и Бреннер, они не намерены были вступать в

переговоры с Веной [37]. Поэтому итальянское правительство отклонило предложение Бауэра, и это означало крушение его надежд. "Наша попытка найти в Италии поддержку против Франции потерпела фиаско..." – вспоминал О. Бауэр [11. С. 152].

Таким образом, к лету 1919 г. международное положение Австрии стало очень тяжелым. Противоборство с французской дипломатией достигло критической точки. Ставка на Италию и США не оправдалась. Все явственнее становилось, что идея аншлюса потерпела крах. Проект мирного договора, переданный германской делегации 7 мая 1919 г., запрещал аншлюс. Многие в Вене считали именно Бауэра виновным в том, что Австрия накануне подписания мирного договора оказалась в дипломатической изоляции. Поэтому, когда в мае 1919 г. начала формироваться официальная правительственная делегация на Парижскую мирную конференцию, христианские социалисты решительно выступили против кандидатуры Бауэра. Главой австрийской правительственной делегации был избран канцлер К. Реннер [7. С. 25–26].

2 июня мирная конференция вручила австрийской делегации часть условий мирного договора. Они превзошли наихудшие ожидания. "Это был страшный документ", – вспоминал О. Бауэр. Он был возмущен крайне тяжелыми экономическими условиями мирного договора, требованиями Антанты передать Немецкую Богемию, Судеты, области Богемского леса и Немецкой Южной Моравии, нижнеавстрийские пограничные округа Чехословакии, Немецкий Тироль – Италии, большую часть Каринтии вместе с Клагенфуртом и немецкие города Нижней Штирии – Югославии [11. С. 146].

Известия об условиях мирного договора породили в Австрии капитулянтские настроения, желание отказаться от идеи аншлюса в надежде, что в ответ Антанта смягчит условия мирного договора. Как уже выше отмечалось, распространению подобных настроений содействовала и французская пропаганда. Тем не менее Бауэр стоял на своем. Выступая 7 июня в Национальном собрании, он вновь заявил о своей убежденности, что немецко-австрийский народ "только в пределах Германской республики завоюет себе сносное будущее" [38. С. 767]. Он решительно высказался против многих пунктов мирного договора и, в первую очередь, против передачи другим государствам территорий, населенных немцами, подчеркнув, что это противоречит принципу о праве наций на самоопределение. "Но победители не считают себя более связанными теми демократическими принципами, которые они провозглашали до того, как достигли победы, – говорил Бауэр. – Обещанную победу права заменил древний жестокий закон победителя" [38. С. 757].

В те дни Бауэр много времени посвящал составлению официальных нот в адрес мирной конференции. Он пытался доказать Антанте, что представленные союзниками условия мирного договора не оставляли Немецкой Австрии достаточного количества ее коренной территории, наносили непоправимый ущерб экономике страны и делали бы невозможным ее самостоятельное существование. Бауэр сознательно стремился поставить Антанту перед дилеммой: либо территориальные и экономические уступки в мирном договоре, либо согласие на аншлюс [39].

Перспектива аншлюса явно не устраивала Париж и его союзников. Поэтому Франция вынуждена была пойти на уступки. Во втором проекте мирного договора, врученном австрийской делегации в Сен-Жермене 20 июля, многие условия были смягчены: вычеркнуты те пункты, которые основательно подрывали жизнеспособность Австрии и неизбежно привели бы к ее экономическому краху, в частности предусматривалась передача Австрии большей части Бургенланда. При поддержке Италии мирная конференция согласилась удовлетворить требование австрийского правительства и разрешить населению Каринтии путем референдума самостоятельно определиться в своей государственной принадлежности. По приказу Верховного Совета Антанты 31 июля 1919 г. югославские войска оставили Клагенфурт.

Бауэр не исключал, что Антанта способна пойти на дальнейшие уступки Австрии. Но для этого венская дипломатия должна была изменить тактику. Прежде всего

следовало примириться с Францией. Тем более, что причины, породившие конфликт с Парижем, были устранены. Аншлюс, против которого бескомпромиссно боролся Париж, после подписания 28 июня 1919 г. германской делегацией мирного договора, фактически стал невозможен. Приближавшаяся гибель Советской власти в Венгрии устраняла и второе препятствие на пути сближения Вены с Парижем, недовольным политикой австрийского правительства в отношении ВСР. К тому же Бауэр опасался, что, если вовремя не примириться с Францией, после падения Советской Венгрии ее политика в отношении Австрии ужесточится, так как Парижу незачем будет больше бояться распространения на нее из Будапешта большевизма.

Бауэр понимал, что в сложившейся ситуации он не подходящая фигура для проведения нового курса. Этому мешал его личный конфликт с французской дипломатией. Поэтому Бауэр решил уйти в отставку, уступив пост главы внешнеполитического ведомства Реннеру в надежде, что тот сумеет снискать расположение Парижа и добиться некоторого смягчения условий Сен-Жерменского договора. Нельзя сказать, что такие расчеты были лишены оснований. Французский посланник А. Аллизе считал, что в отличие от упрямого догматика Бауэра, задавшегося целью воплотить социалистическую доктрину в жизнь и стремившегося для ускорения этого процесса присоединить Австрию к Германии, канцлер Реннер был политиком другого склада. На Аллизе он произвел более благоприятное впечатление. Мимо внимания французского посланника не прошли различия во взглядах этих двух австрийских лидеров, которые все отчетливее стали проявляться весной 1919 г. В беседах с Аллизе Реннер подчеркивал, что не полностью согласен с политикой аншлюса. По мнению Аллизе австрийский канцлер был человеком, с которым "можно было договориться" [32. P. 48–49, 144–145]. 23–24 июля состоялась встреча Бауэра с Реннером в Фельдскирхе, во время которой они обсудили создавшееся положение [7. S. 29–30; 11. С. 150–152].

26 июля Бауэр официально заявил о своей отставке [40]. Очевидно, что его политика оказалась несостоятельной. Его национальная программа была столь же далекой от осуществления, как и идеалы революционеров-романтиков 1848 г. Бауэр не добился и не мог добиться осуществления своей идеи – объединения всех немцев в одном государстве и переустройства Европы на основе признания за всеми народами права на самоопределение.

С отставкой Бауэра движение за объединение в Австрии и Германии не прекратилось. Только во главе его в 20–30-е годы стали национал-социалисты. Бауэр разграничивал "пролетарско-революционное движение за аншлюс в 1918/19 гг." и "мелкобуржуазно-реакционное движение за аншлюс" в последующие годы [30. S. 139]. Если первое он рассматривал как борьбу германской и австрийской революций "против империализма победителей" за право народов на самоопределение, которая была в интересах европейской демократии [41], то ко второму относился с большим опасением.

Еще в 1918 г. Бауэр предостерегал, что неудовлетворительное решение национальных проблем чревато тяжелыми последствиями для судеб мира в Европе и способно вовлечь "в новое пламя весь континент" [38. S. 758]. Его слова оказались пророческими. В 1938 г. незадолго до смерти О. Бауэр стал свидетелем аншлюса Австрии, осуществленного Гитлером, и резкого обострения судетонемецкого вопроса в ЧСР, явившихся предвестниками второй мировой войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bauer O. Deutschland und Sozialdemokratie // Bauer O. Werkausgabe. Wien. 1975. Bd. 1.*
2. *Bauer O. Die Nationalitäten Frage // Bauer O. Werkausgabe. Wien, 1975. Bd. 1.*
3. *Bauer O. Nationale und soziale Probleme des Duetschtum // Bauer O. Werkausgabe. Wien, 1975. Bd. 1.*
4. *Bauer O. Nationaler Kampf oder Klassenkampf? // Bauer O. Werkausgabe. Wien, 1975. Bd. 1.*

5. *Bauer O.* Geschichte Österreichs // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1975. Bd. 1.
6. *Бауэр О.* Национальный вопрос и социал-демократия. СПб., 1909.
7. *Renner K.* Österreich von der Ersten zur Zweiten Republik. Wien, 1953.
8. *Montgomery-Cuninghame Th.* Dasty Measure. London, 1939. P. 314.
9. *Шедивы Я.* Меттерних против Наполеона. М., 1991. С. 51.
10. *Braunthal J.* Otto Bauer. Ein Lebensbild // *Otto Bauer.* Eine Auswahl aus seinem Lebenswerk. Wien, 1961.
11. *Бауэр О.* Австрийская революция 1918 г. М., 1925.
12. *Bauer O.* Ein Nationalitätenprogramm der "Linken" // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1980. Bd. 8.
13. *Bauer O.* Das neue Europe // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1979. Bd. 7. S. 283–287.
14. *Bauer O.* Der deutschösterreichische Staat // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1979. Bd. 7. S. 269–274.
15. *Bauer O.* Deutschland und wir // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1979. Bd. 7. S. 279–282.
16. *Deutsch J.* Aus Österreichs Revolution. Militärpolitische Erinnerungen. Wien, O.J. S. 10.
17. *Bauer O.* Rückblick auf die Jahre des Krieges und Ausblick auf die revolutionären Folgen des Krieges // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1978. Bd. 5.
18. *Bauer O.* Acht Monate auswärtige Politik. Wien, 1919.
19. *Турок В.М.* Очерки истории Австрии. 1918–1929. М., 1955.
20. Akten zur deutschen auswärtigen Politik. 1918–1945. Ser. A: 1918–1925. Göttingen, 1982. Bd. 1. (Далее: ADAP).
21. *César J. Černý V.* Od sudetoněmeckeho separatismu k plánům odvety. Liberec, 1960.
22. *Швейцер В.Я.* Австромарксисты о революции и строительстве социализма в СССР // Рабочий класс и современный мир. 1988. № 2. С. 147–148.
23. *Bauer O.* Der Weg zum Zozialismus. Wien, 1919. S. 32.
24. *Brockodorf-Rantzau U.* Dokumente und Gedanken um Versailles. Berlin, 1925. S. 52–53, 145–148.
25. *Драбкин Я.С.* Становление Веймарской республики. М., 1978.
26. *Bauer O.* Rede vom 12. März 1919 // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1978. Bd. 5. S. 742–744.
27. Архив полковника Хауза. М., 1944. Т. 4.
28. *Lansing K.* Die Versailler Friedensverhandlungen. Berlin, 1921.
29. *Bauer O.* Wandlungen und Probleme der Anschlusspolitik // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1980. Bd. 9.
30. *Bauer O.* An Jean Longuet // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1980. Bd. 9. S. 1047–1049.
31. *Allizé H.* Ma mission à Vienna (Mars 1919 – Août 1920). Paris, 1933.
32. *Gulick Ch.* Austria from Habsburg to Hitler. Berkeley, Los Angeles, 1948. Vol. 1.
33. Dokumentation zur Österreichischen Zeitgeschichte. 1918–1928. Wien-München, 1984. S. 88–89.
34. *Пушкаш А.И.* Внешняя политика Венгрии. Ноябрь 1918 – август 1927 г. М., 1981. С. 120, 122.
35. *Bauer O.* An Bélla Kun // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1980. Bd. 9. S. 1056–1061.
36. *Bauer O.* An Karl Renner // *Bauer O.* Werkausgabe. Bd. 9. S. 1052–1056.
37. *Альворадо Марескотти Л.* Дипломатическая война. М., 1944. С. 346–347.
38. *Bauer O.* Rede vom 7. Juni 1919 // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1978. Bd. 5.
39. ADAP. 1918–1945. Ser. A: 1918–1925. Göttingen, 1984. Bd. 2. S. 103–107.
40. Die Demission Otto Bauers // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1978. Bd. 5. S. 775–776.
41. *Bauer O.* Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen? // *Bauer O.* Werkausgabe. Wien, 1980. Bd. 9. S. 861..



© 1999 г.

В.В. МАРЬИНА

1944–1945 ГОДЫ: ЖДАЛИ ЛИ РУССКИХ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ?

Мысль о написании настоящей статьи появилась в связи с опубликованием работы Ю.С. Новопашина "Об антисоветизме и русофобии в послевоенной Восточной Европе. К постановке проблемы" [1]. Прежде всего, порадовало само обращение к проблеме, о которой немного пишется, хотя много говорится. "Про это" следует их говорить, и писать открыто, не заикливаясь на указанных явлениях, но изучая их корни и причины. Писать надо потому, что всякая "фобия" вредна, наносит ущерб отношениям между странами и народами, тормозит дело прогресса.

Приветствуя публикацию статьи Ю.С. Новопашина, хочу поделиться некоторыми соображениями, возникшими после ее прочтения. Первое, на что хочется обратить внимание, это необходимость конкретно-исторического рассмотрения проблемы: буквально по годам (а то и месяцам), по отдельным странам, обществам и даже их слоям. Обращаясь к документам, например высказываниям тех или иных лиц, и особенно политиков, следует учитывать, в какой обстановке и с какой целью они делались, на кого были рассчитаны. Эти, банальные с точки зрения исследователя, имеющие дело с документами, истины, думается, надо особенно иметь в виду, когда дело касается таких обоюдоострых (в том числе и в политическом плане) понятий, как русофобия, русофильство. Иллюстративный метод, часто основанный на выхватывании случайных фактов для подкрепления своей аргументации, при рассмотрении этой проблемы совершенно противопоказан. Изучение общественного мнения (а поднятая Ю.С. Новопашиным проблема – его составляющая) вообще вещь очень сложная, а что касается прошлого, то особенно: ведь, как правило, нельзя опереться на результаты социологических опросов, которые тогда просто не проводились.

Антисоветизм и русофобия в послевоенной Чехословакии, а именно на ее материале Ю.С. Новопашин преимущественно рассматривает поставленную им проблему, – явление, имеющее свою историю и свои этапы и отражающее конкретно-историческую ситуацию данного времени. В подтверждение этой мысли можно привести пример, когда на протяжении сравнительно небольшого временного отрезка – 1939–1941 гг. – в Чешских землях, уже оккупированных Германией, несколько раз менялось отношение к СССР или России, русским (тогда это были синонимы). После расчленения Чехословакии в марте 1939 г. гитлеровской Германией, когда решительно протестовал против этой акции только Советский Союз и когда стала прорисовываться возможность альянса СССР с Западом на антигит-

Марьина Валентина Владимировна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

леровской основе, весьма возрос авторитет Советской страны как возможного освободителя от немецкого ярма, а вместе с этим обозначилось и усиление русофильства. После заключения советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 г. эта волна начала спадать, хотя во время "западного похода" Красной Армии, окончившегося очередным разделом Польши, среди части чешского населения возникли иллюзии относительно возможного советского патронажа над чешскими территориями [2]. После начала советско-финляндской войны русофильские настроения резко пошли на убыль: эта акция расценивалась как нападение великой державы на малую страну и приравнивалась к действиям гитлеровцев. (Следует иметь в виду, что коммунисты всегда поддерживали и оправдывали советскую политику.) Взоры чешского общества снова обратились на Запад как на возможную опору в борьбе против нацистского ярма. Отношение к СССР было весьма прохладным и критическим вплоть до заключения мира с Финляндией в марте 1940 г. После падения Франции в июне того же года вновь поднялась волна русофильства и надежд на то, что помощь придет с Востока. При этом наблюдался даже и рост советофильства, которое шло рука об руку с германофобией. Рассуждения при этом сводились примерно к следующему: немцы заберут у нас все – язык, культуру, традиции, чешский народ исчезнет с лица Земли, русские же возьмут лишь имущество. Тут проявилось очень характерное стремление выбрать из двух зол меньшее.

Этот пример с волнообразным изменением настроений в обществе приводится для того, чтобы показать, что русофильство и русофобия всегда определяются конкретно-историческими условиями. И то, и другое явление подсудно существуют в любом нерусском обществе, как две стороны медали. При этом периоды проявления любви и ненависти, преклонения и страха могут быть разной продолжительности и охватывать разные слои общества как в количественном, так и в содержательном отношении. Думается, что, как правило, этим настроениям более подвержена интеллигенция и элита общества, нередко полагающие, что отражают его глубинные чаяния и выступают от имени всего народа. Меж тем часто – это мнение, взгляд довольно узкого круга (группы) людей, стремящихся навязать его обществу. По этим внешним проявлениям, чаще всего высказываниям в письменной форме, историки судят о настроениях общества в целом. Поэтому, видимо, следует более аккуратно обращаться с терминами русофильство или русофобия, когда речь идет о народе, стране или даже о регионе.

Что касается Чехословакии, то автору, как давно интересующемуся историей этой страны, видятся следующие периоды чередований настроений ее общества (опять же речь идет о внешних проявлениях) по отношению к Советскому Союзу в последние полвека. При этом следует иметь в виду то, во-первых, что у Чехословакии (чешского и словацкого народов) не было до августа 1968 г. никаких серьезных коллизий с Россией, СССР (чего не скажешь, например, о Польше или Румынии); во-вторых, что в этих обществах были достаточно сильны традиции славянской общности, хотя при этом чешское общество более тяготело к демократическому Западу с его культом индивидуализма, а словацкое – к славянскому Востоку со всеми присущими ему положительными и отрицательными чертами. Поэтому, думается, при более внимательном рассмотрении русофильство и русофобия будут выглядеть по-разному в обеих частях бывшей Чехословакии.

Во время войны русофильские (а для части населения и советофильские) настроения были особенно характерны для находившихся под нацистской оккупацией Чешских земель. Очевидно было (особенно с 1943 г.), что освобождение придет с Востока, хотя немалая часть населения предпочла бы, чтобы это были армии западных держав. В Словакии рост прорусских настроений был обусловлен, с одной стороны, упомянутыми традициями славянского единства, а с другой – алиби-скими стремлениями. После войны все политические партии ЧСР высказались за союз и дружбу с СССР как оплота против возрождения германского экспансионизма. В феврале 1948 г. коммунисты, ориентировавшиеся во внешней политике исклю-

чительно на Советский Союз, были поддержаны значительной частью активного населения (это отличительная черта Чехословакии по сравнению с другими восточноевропейскими странами), очарованного перспективой светлого социалистического завтра. Русофобы и советофобы, осмеливавшиеся в предшествовавший народно-демократический период поднимать голос, были либо упрятаны в тюрьмы, либо эмигрировали, получив клеймо "враг народа". Но с начала 50-х годов, когда появилось много недовольных в связи с проведением политики кооперирования деревни, денежной реформой, уничтожением мелкого предпринимательства, снижением жизненного уровня населения, нагнетанием атмосферы страха и недоверия, в стране подспудно стало зреть недовольство установившимся после февраля 1948 г. режимом советского образца, хотя это недовольство пока еще не выливалось в критику советского строя. Смерть Сталина и последовавшая сразу за ней смерть Готвальда, начавшаяся критика допущенных ошибок, которая усилилась после XX съезда КПСС, не могли, с одной стороны, не вызвать восторженных аплодисментов в адрес смелых коммунистических реформаторов, желавших освежить фасад режима, а с другой – не способствовать усилению антисоветских и русофобских тенденций в обществе, стремлению (небеспочвенному) свалить всю вину за происшедшее на Советский Союз. Критическая настроенность по отношению к существующему режиму и в более или менее явной форме по отношению к советскому строю, порожденная "хрущевской оттепелью", не ослабевала и в период начавшихся "брежневских заморозков". Более того, сомнения в правильности выбранного Чехословакией после февраля 1948 г. пути усилились настолько, что стали угрозой благополучия всего социалистического лагеря во главе с СССР. Тогда и решено было военной силой подавить "пражскую весну", что вызвало естественно негодование большей части чехословацкого общества и мировой общественности. В 70–80-е годы, внешне весьма благоприятные в советско-чехословацких отношениях, в Чехословакии скрыто нарастало негативное отношение к Советскому Союзу, пока под влиянием начавшейся в СССР "горбачевской перестройки" не вылилось в "бархатную революцию" конца 1989 г. Тут-то антисоветизм и русофобия проявились весьма открыто, сметая и все то положительное, что было "наработано" историей в отношениях обеих стран и народов. Таков печальный конец стремлений навязать другому народу (не без поддержки его собственных, внутренних сил) свое видение пути его развития.

Теперь – к собственной теме исследования, обозначенной в заглавии статьи. Сначала – несколько предварительных замечаний. Во-первых, что касается термина "русские", то, как известно, – это широко распространенное во время войны за пределами СССР обозначение всего, имевшего отношение к Советскому Союзу и Красной Армии. Во-вторых, понятие "Восточная Европа", широко используемое в исторической и политологической литературе, несет в данном контексте исключительно политическую нагрузку, обозначая государства, вошедшие после войны в сферу советского влияния. Албания при этом остается вне поля внимания автора, поскольку на ее территорию части Красной Армии не вступали. В-третьих, общая постановка вопроса о настроениях населения в отдельных странах региона содержится в книге "Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939–1945 гг." [3]. В настоящей же статье предполагается уточнение и конкретизация этих оценок при опоре на опубликованные в последние годы и обнаруженные в российских архивах документы.

Далее – для уяснения рассматриваемого в статье вопроса следует дать ответ на другой: могли ли оккупированные Германией и зависимые от нее страны региона освободиться собственными силами? Исследования свидетельствуют, что здесь может быть дан однозначный ответ: нет. Даже Югославия, где вооруженная борьба велась достаточно интенсивно и где к осени 1944 г. значительные территории были освобождены Народно-освободительной армией (НОАЮ) под командованием Й.Б. Тито, не могла окончательно расправиться с оккупантами собственными силами:

21 сентября 1944 г. Тито прибыл в Москву, чтобы договориться с советским руководством о совместных военных операциях НОАЮ и Красной Армии по освобождению Белграда. Армия Крайова (АК) – вооруженная сила лондонского эмигрантского польского правительства – продемонстрировала свою слабость и недостаточную вооруженность в период Варшавского восстания (1 августа – 2 октября 1944 г.). Словацкая армия, вместе с партизанами составлявшая вооруженные силы Словацкого национального восстания (29 августа – 28 октября 1944 г.), также не могла противостоять частям вермахта. Еще менее правомерна постановка вопроса об освобождении собственными силами от германской зависимости сателлитов Третьего рейха Румынии и Венгрии. Что касается Болгарии, то термин "освобождение" здесь может использоваться лишь условно, если иметь в виду освобождение ее от статуса сателлита по отношению к гитлеровской Германии, поскольку частей вермахта ко времени вступления Красной Армии на территорию страны в Болгарии практически не было. Если же иметь в виду военную сторону дела то, видимо, правильнее было бы говорить в данном случае о выполнении Красной Армией своей основной боевой задачи – дальнейшего преследования гитлеровских войск с целью их окончательного разгрома.

В обществе всех стран региона в годы войны возникло и существовало три группы, три внешнеполитически разноориентированных течения: прогерманское, прозападное и прорусское (внутри последнего выделялось и просоветское). Соотношение между ними в ходе войны постоянно менялось в направлении ослабления позиций первой и усиления второй и третьей ориентаций. Картина соотношения этих сил к концу войны в каждом из указанных государств была своеобразной, свойственной лишь данному обществу, и определялась положением страны в годы войны (на чьей стороне воевала), национальным менталитетом, историческими традициями ее отношений с Западом и Востоком (точнее, с Россией). Что же касается отдельных людей, то здесь играли роль опасения за свою жизнь, положение и собственность, надежды на улучшение или сохранение своего социального и политического статуса после окончания войны, эйфория по поводу восстановления государственного суверенитета и национальной самостоятельности или же страх потерять их и т.д. Рассматривая проблему под этим углом зрения, видимо, можно было бы выделить следующие группы стран, что помогло бы определить общее и показать особенности отдельных общественных группировок: первая – оккупированные славянские страны – Чехия (она входила тогда в качестве протектората в состав Германии), Польша, Югославия; вторая – славянские страны-сателлиты Германии – Словакия и Болгария; третья – неславянские страны-сателлиты – Румыния и Венгрия.

Отношение населения в каждой из этих стран к факту вступления Красной Армии на ее территорию, отражаемое лишь отчасти в позиции политических партий и организаций, было различным, поэтому и рассматривать их нужно отдельно. Начать следует, пожалуй, с Польши, где, в отличие от Чехии и Югославии (точнее, Сербии, о которой в основном и пойдет речь), не было сколько-нибудь ясно очерченного и официально оформленного в виде коллаборационистского правительства прогерманского течения. В польском национально-освободительном движении, да и в стране в целом образовалось два лагеря: один из них, первым начавший сопротивление, объединился вокруг лондонского эмигрантского правительства и ориентировался на Англию и США; второй, левый во главе с Польской рабочей партией (ППР) ориентировался на СССР и его поддержку. И тот, и другой были укоренены на национальной почве, имели своих приверженцев и сторонников. Какой из них пользовался большей поддержкой в стране? Ранее советские и солидарные с ними польские исследователи утверждали, что второй, возглавляемый ППР; часть же польских и западных исследователей полагали, что этот лагерь был слаб и имел незначительное влияние в Польше, что сторонников эмигрантского правительства, имевшего в стране свою делегатуру и вооруженные силы – АК, было куда больше. Опубликованные документы позволяют говорить о довольно широкой поддержке эмигрантского

правительства и АК населением, как значилось в одном из донесений советских армейских политорганов, "преимущественно из помещичьих, зажиточных слоев и частично из польской интеллигенции" [4. С. 349], но не только ими. Впрочем, в ныне известных документах содержится множество фактов, произвольный выбор которых может послужить обоснованию и той, и другой точки зрения.

Общим для обоих польских лагерей, которые до конца войны так и не смогли прийти к соглашению о взаимодействии, были их антигитлеровская позиция и борьба против немецко-фашистских оккупантов. Каждый из лагерей ставил своей целью завоевание власти в освобожденной стране, рассчитывая при этом на содействие Запада либо Востока. Лондонский лагерь, в политическом отношении достаточно разнородный, к концу войны раскололся, лишившись ранее поддерживавших его мелкобуржуазных сил во главе с премьер-министром С. Миколайчиком, готовым пойти на союз с группировкой, ориентированной на СССР. Но это, думается, было вынужденное обстоятельством и обстановкой решение политика-прагматика, не видевшего иной альтернативы и готового пойти на компромисс. Однако по ряду причин компромисс тогда не состоялся (Миколайчик ушел в отставку); и среди тех, кто приветствовал и ждал прихода русских не оказалось многих сторонников экс-премьера и польской крестьянской партии – Стронництва Людове (СЛ), очень авторитетной и популярной в стране. Ее вооруженные отряды – Батальоны Хлопске (БХ), состоявшие, согласно информации политорганов Красной Армии, "из польских крестьянских парней с неоформившейся политической физиономией" [4. С. 163], в конце войны действовали заодно либо с АК, либо с Армией Людовой (АЛ).

Готовились встречать Красную Армию и сотрудничать с ней сторонники группировки, возглавляемой ППР, маловлиятельной, хотя и весьма активной в то время партии в стране. Организационно это были подпольные рады народовы, отряды АЛ – вооруженной силы просоветских кругов, организации ППР, а также польские партизаны (не всегда прокоммунистически ориентированные). Делегатура польского эмигрантского правительства и АК по большей части ушли в подполье и продолжали борьбу не только против отступавших частей вермахта, но и против преследовавших их частей Красной Армии [4. С. 164–165, 166, 384, 385, 387, 415–417, 475–477]. Согласно сообщению на имя маршала Г.К. Жукова от 19 сентября 1944 г., т.е. в разгар Варшавского восстания, генерал Бур, главный комендант вооруженных польских сил, издал приказ о борьбе против Советов, где в частности говорилось: "Большевики перед Варшавой. Они заявляют, что они друзья польского народа. Это коварная ложь... Большевицкий враг встретится с такой же беспощадной борьбой, которая поколебала немецкого оккупанта. Действия в пользу России являются изменой родине... Немцы удирают. К борьбе с Советами" [4. С. 206]. Справедливости ради следует сказать, что этот приказ последовал вслед за Директивой Ставки Верховного Главнокомандования о разоружении отрядов АК и изъятии оружия у местного населения от 1 августа 1944 г. и аналогичным приказом маршала Советского Союза К. Рокоссовского от 2 августа того же года. Приведение его в исполнение вызвало негативную реакцию и сопротивление со стороны бойцов и офицеров АК [4. С. 335–336, 338, 371, 373, 468; 5. С. 38–94, 99–104, 109–112].

То население, которое активно не поддерживало ни один из противоборствующих польских лагерей, заняло нейтрально-выжидательную позицию. На отношение к СССР и Красной Армии отрицательно влияли, помимо прочего, такие факторы, как еще свежие в памяти поляков события осени 1939 г., когда СССР совместно с гитлеровской Германией по существу участвовал в разделе страны (это расценивалось как "удар ножом в спину Польши" [4. С. 327]); нерешенность к концу 1944 г. вопроса о восточных польских границах (среди поляков было много сторонников возврата Польше земель, отошедших в 1939 г. к СССР) [4. С. 349, 359; 5. С. 4]; получивший широкую известность факт расправы НКВД с польскими военнопленными в Катыни в 1940 г.; неоказание Советским Союзом своевременной помощи Варшавскому восстанию, что активно использовали в своих интересах и гитлеровцы, и польское

эмигрантское правительство; слухи о массовых арестах, расстрелах и депортациях польского населения на освобожденных Красной Армией территориях Польши, а также слухи о грядущей советизации Польши и ее полной зависимости от СССР [4. С. 320, 365, 395]. Так что отношение к советским солдатам со стороны значительной части поляков было если не просто враждебным, то настороженно-выжидательным. Вместе с тем, после поражения Варшавского восстания и усилившегося произвола со стороны гитлеровцев по отношению к населению определенная его часть ждала прихода Красной Армии и готова была сотрудничать с ней. Об этом свидетельствуют многочисленные донесения советских политорганов, военных комендантов, органов контрразведки СМЕРШ, содержащие сведения о настроениях поляков, их отношении к советским солдатам [4. С. 179, 325–326, 348, 359, 363, 365, 396, 411, 427, 430; 5. С. 94, 97]. Однако документы свидетельствуют и о желании некоторых политработников Красной Армии явно приукрасить положение дел, сообщая наверх, в частности секретарю ЦК ВКП(б), начальнику ГлавПУРККА А.С. Щербакوفу, о том, что сочувствующие польскому эмигрантскому правительству лица не пользуются среди населения большим влиянием, что в освобожденных районах сложилась обстановка "всеобщей симпатии, уважения и благодарности широких слоев польского населения по отношению к Советскому Союзу и Красной Армии" [4. С. 327]. В общем и целом можно сказать, что, согласно опубликованным документам, желающих активно сотрудничать с теми, кого польское эмигрантское правительство и командующий АК уже тогда именовали "новыми оккупантами" [3. С. 391; 4. С. 364, 477; 5. С. 173], было, особенно в последний год войны, не так уж мало. Военные успехи СССР, его возросшая роль на международной арене имели следствием рост симпатий поляков к Красной Армии. Происходило, по словам А.Ф. Носковой, «некоторое снижение "порога" антисоветизма в Польше» [5. С. 11].

Теперь – о Югославии. Здесь, как и в Польше, в народно-освободительном движении (НОД) также возникло два противоборствующих лагеря, которые до конца войны так и не смогли прийти к согласию. Первый из них, просоветский и активный с точки зрения ведения борьбы против оккупантов, возглавлял коммунист Й.Б. Тито. Второй, ориентированный на Запад и придерживавшийся выжидательной тактики, символизировала фигура сербского офицера полковника Драже Михайловича. Однако общая картина положения дел в Югославии и в НОД страны была гораздо более сложной, чем это представлялось до недавнего времени [3. С. 334–370]. В советской и солидарной с ней югославской историографии акцент, как правило, делался на единстве народно-освободительной борьбы в стране под руководством Тито, который в своих сообщениях в Москву и Коминтерн именно так и представлял дело. Надо сказать, что такое видение ситуации в Югославии импонировало союзникам по антигитлеровской коалиции, которые хотели сохранения этой страны как единого государства и в будущем. В действительности же картина событий, развернувшихся в Югославии в годы войны, как стало ясно теперь, во многом напоминала происходящее здесь в последнее время. Именно тогда в первый раз всплыли и открыто проявились те противоречия социального и политического, но главным образом национального и конфессионального плана, которые накопились за более чем два десятилетия межвоенного существования Югославии как единого самостоятельного государства. И в годы второй мировой войны здесь воевали все против всех: сербы – против хорватов, а все остальные против сербов; православные против католиков и мусульман; бедные против богатых; коммунисты против своих политических противников, хотя внешне все это связывалось часто с отношением к оккупантам. Это внутреннее противостояние разворачивалось в рамках национально-освободительной борьбы или шло параллельно с ней. НОД приобрело многоплановый характер: национальный (антиоккупационный и антиквислинговский), классово-идеологический (социалистический и просоветский), религиозный (борьба конфессий).

Картина была своеобразной и, как сказано выше, значительно более сложной, чем

представлялась ранее. В частности, например, Народно-освободительная армия Югославии, возглавляемая хорватом Тито, хотя и имела в своем составе представителей различных национальностей и конфессий, но в основном до конца войны состояла из сербов (православных). В Сербии же, как известно, традиционно были сильны пророссийские, русофильские настроения. Русский фактор издавна был синонимом славянства и православия. В войну же, и особенно в ее конце, именно благодаря успехам НОАЮ, освободившей самостоятельно значительную часть территории страны, и возросшей в связи с этим популярности Тито, а также в связи с успехами Красной Армии, олицетворявшей мощь советского строя, усилились и русофильские настроения. Тито стал синонимом советизма (русизма) и интернационализма как главной составляющей коммунистической идеологии и все более обретал облик общенародного вождя.

Д. Михайлович, вооруженные силы которого (четники) придерживались принципа "выживания ради выживания", в течение всей войны были недостаточно активны в борьбе против немцев, а иногда и блокировались с ними в стремлении одолеть коммунистическую армию Тито. В конце войны Михайлович потерял поддержку западных союзников, вынужденных признать, что основную тяжесть борьбы с оккупантами несет на себе НОАЮ. Глава союзнической военной миссии при Верховном штабе НОАЮ генерал Маклейн в конце 1943 г. сообщал, что партизанское движение полюбуется "искренней поддержкой гражданского населения" и имеет последователей "во всей стране и во всех слоях". Он указывал на большое значение русского и советского фактора: "Советская Россия рассматривается партизанами как политический наставник, как традиционный защитник всех славянских народов и, наконец, как единственная страна, которая вообще ведет войну, кроме них самих". В сравнении с советским, британское влияние, по Маклейну, "значительно меньше, так как речь идет о капиталистической и неславянской стране" [6. Кнj. 2. S. 52]. Американский представитель в союзнической военной миссии Фариш, описывая свои впечатления от общения с рядовыми бойцами обоих противостоявших друг другу югославских вооруженных формирований, подавляющая часть которых состояла из крестьян, отмечал: "Я не мог бы сказать, кто из них левый, а кто правый, кто коммунист, а кто реакционер" [6. Кнj. 2. S. 203]. Очевидно, это наблюдение было верным: большинство политически неискушенных рядовых участников НОД не являлись сознательными сторонниками какого-либо политического течения или партии. Скорее всего, они были реалистами и интуитивно чувствовали, на чьей стороне сила.

Когда Красная Армия подходила к границам Югославии, вооруженные силы Михайловича находились в процессе разложения, значительная часть их, не желая "проливать братскую кровь" и ожидая скорого прихода русских, перешла в НОАЮ, часть разошлась по домам, часть ушла на Запад [6. Кнj. 2. S. 232-234]. Учитывая сильные русофильские настроения сербов, Михайлович, сам до открытого противоборства с коммунистами связывавший активизацию своего движения с приходом русских [6. Кнj. 1. S. 49], отдал приказ своим отрядам не вступать в столкновение с частями Красной Армии, когда те окажутся на территории Сербии. Созданный четниками 5 сентября 1944 г., когда еще не было точно известно, что Красная Армия перешла югославскую границу, Центральный национальный комитет заявил о своем союзническом отношении к СССР и о враждебности к Тито, строя иллюзии о возможности взятия власти. Оставшиеся верными Михайловичу отряды вступали в сражения с частями вермахта, иногда взаимодействуя с советскими войсками. Затем, согласно договоренности Тито со Сталиным в конце сентября 1944 г., четнические формирования, как и в Польше АК, были разоружены [3. С. 360; 6. Кнj. 2. S. 231].

Поставленное гитлеровцами коллаборационистское сербское правительство М. Недича, не пользовавшееся с самого начала особой популярностью, к концу войны утеряло ее окончательно и бежало из Сербии. Перед тем как покинуть страну, Недич отдал приказ своим вооруженным силам, охваченным массовым дезертирством, не вступать в бой с Красной Армией [6. Кнj. 2. S. 215, 230]. Советские войска, осво-

бодившие вместе с частями НОАЮ Восточную Сербию и Белград, вошли в страну как классовая надежда (опора) одних и классовый враг других, но в целом были благожелательно встречены населением; часть его, видимо, все же меньшая, ориентировавшаяся на Запад, а также в прошлом поддерживавшая Недича, если не ушла с отступавшими частями вермахта или не бежала на Запад, затаилась и не проявляла себя сколько-нибудь открыто.

Третья из первой группы стран, ранее всех оккупированная и позже всех освобожденная, Чехия, значительно отличалась и от Польши, и от Югославии с точки зрения интенсивности освободительной борьбы. По многим причинам (специфика национального менталитета, исторические традиции, отсутствие оружия, особенности густонаселенной страны с большим количеством городов и развитой коммуникационной сетью, своеобразие рельефа, политика немцев, сочетающая принципы "кнута и пряника", относительное, на фоне окружающих военных бедствий, материальное благополучие населения, неоднократные разгромы подпольной антифашистской сети и т.д.) движение Сопротивления здесь было менее развито, чем в Польше и Югославии. Деятельность партизанских отрядов, созданных главным образом вокруг организаторских групп, направленных из СССР, активизировалась лишь весной 1945 г. Вершиной сопротивления было известное Майское восстание чешского народа, начавшееся при непосредственном приближении союзнических войск к Праге – американских с Запада, советских – с Востока [3. С. 429–441]. Кстати, Чехия была единственной из рассматриваемых стран, часть которой была освобождена западными союзниками.

Чехи, как представляется, особенно не рассчитывали на собственные силы в деле освобождения своей страны от оккупации, уповая на помощь извне, только одни при этом смотрели на Запад, а другие на Восток. Это констатировалось во многих, разных по характеру, документах. В частности, в постановлении ИККИ "О политической линии и ближайших задачах Компартии Чехословакии" от 5 января 1943 г. говорилось: "Широкие массы чешского народа ожидают освобождения преимущественно извне", что питает "настроения пассивности и выжидания" и "мешает полному использованию всех сил народа в борьбе против оккупантов в самой стране" [7. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1340. Л. 6–14]. Об этом же свидетельствуют, например, и впечатления находившегося в протекторате с середины 1943 г. до сентября 1944 г. немецкого кинохроникера Г.Ю. фон Гаака: "Строго говоря, саботажа нет, а такие события, как взрывы, пожары и т.д. происходят крайне редко... масса населения сохраняет спокойствие и выжидательное отношение". Говоря об отношении к СССР, Гаак писал: "Большинство считает Россию освободительницей, хотя во многих случаях со смешанными чувствами". Он полагал, что немецкая антирусская пропаганда, особенно распространение слухов (например о том, что Лондон имеет тайное соглашение с Россией о включении Чехословакии в Советский Союз), оказывает на это некоторое влияние: "Большинство народа предпочло бы вывод немцев без вступления русских" [8. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 24. Л. 6–7].

Надо сказать, что и в конце войны среди чешского народа, во всех его слоях, было много сторонников пассивного выжидания, полагающих, что освобождение придет извне, будет привнесено союзническими армиями и что малому чешскому народу не стоит зря рисковать и проливать напрасно кровь [9. С. 405]. Своего адресата находила и пропаганда властей протектората, предупреждавших об угрозе "азиатского большевизма", предостерегавших против "анархии и хаоса", убеждавших в необходимости сохранения "спокойствия и порядка" [3. С. 435]. Сообщая в Лондон о настроениях в протекторате в марте 1945 г., представители чешского военного подполья писали: "Со времени убийства Гейдриха и казней, которые явились следствием его смерти, чешский народ занял твердую выжидательную позицию" [8. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 25. Л. 77].

Вместе с тем это не означало доброго отношения к немецким оккупантам. Долго не находившее открытого выражения чувство ненависти бурно проявилось в момент

освобождения, когда, согласно донесениям политорганов Красной Армии, наблюдались многочисленные случаи жестокой расправы населения ("в самых разнообразных, подчас довольно странных, необычных для нас формах") над немцами. "Злоба и ненависть к немцам настолько велики, – значится в одном донесении, – что нередко нашим офицерам и бойцам приходится сдерживать чехословацкое население от самочинной расправы над гитлеровцами" [7. Ф. 17. Оп. 12. Д. 320. Л. 161–163]. Жажда освобождения и ненависть к немцам определяли поведение массы чешского населения к концу войны, когда стало окончательно ясно, что основными освободителями станут русские. И большинство населения, думается, не имело тогда ничего против этого. В упомянутом сообщении в Лондон в марте 1945 г. говорилось, что не только "коммунисты восхищены подчеркнутой искренней дружбой с Советским Союзом", что "лица, ранее принадлежавшие к правому лагерю", сейчас довольны "удовлетворительными отношениями с Россией, которая, по их мнению, отказалась от своей тактики политического интернационализма, и склонны рассматривать Россию как славянскую державу" [8. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 25. Л. 77]. Русофильские настроения в конце войны получили довольно широкое распространение. Значительная часть чешского общества в это время склонна была поддержать и социалистические идеи, поэтому многими приветствовалась, в том числе, например, президентом ЧСР Э. Бенешем и его сторонниками, перспектива глубоких социальных преобразований в стране [10. № 1. С. 88–107; № 3. С. 129–156]. Сам Бенеш, несмотря на свои симпатии к Западу и его образу жизни, как реально мыслящий политик, осознававший особенности международной ситуации и геополитического положения Чехословакии, в своей внешней политике отстаивал принцип, выраженный формулой: "50% – на Запад и 50% – на Восток". Результатом этого курса и стало заключение в декабре 1943 г. советско-чехословацкого договора о дружбе, взаимопомощи в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве. Два лагеря в чешском сопротивлении (прозападный и просоветский), в отличие от Польши и Югославии, сумели тогда найти пути друг к другу и объединить свои усилия в антигитлеровской борьбе. Поэтому, думается, небезосновательно З. Неедлы в беседе с С.А. Лозовским в июне 1945 г. заявил: "Две проблемы совершенно ясны теперь для всех: необходимость поддержания тесной дружбы с СССР и очищения Чехословакии от немцев. По этим двум вопросам не имеется между партиями никаких расхождений" [8. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 5. Л. 18].

Советских солдат в Чехии встречали действительно как освободителей от нацистского гнета. Политорганы Красной Армии доносили о дружелюбном, как правило, отношении населения: "На улицы выходили толпы людей, много домов было украшено советскими и чехословацкими флагами. Все чешское население осталось на своих местах. Количество чехов, бежавших с немцами, исчисляется единицами"; из освобожденного Брно: "Население города хорошо относится к нашим войскам, интересуется положением на фронтах, жизнью в Советском Союзе" [7. Ф. 17. Оп. 128. Д. 32. Л. 53; Оп. 125. Д. 320. Л. 129, 144–145]. А вот свидетельство З. Неедлы: "Красную Армию везде встречают с огромным ликованием. Даже сами красноармейцы утверждают, что нигде не встречали их так тепло и радушно, как в Чехословакии... В Праге всюду рядом с чехословацким флагом вывешивается советский флаг, оба гимна (советский и чехословацкий) обязательно исполняются один за другим, рядом с портретом Бенеша неизменно висит портрет тов. Сталина" [8. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 5. Л. 14, 17]. О восторженной встрече населением Чехословакии, и особенно Праги, Красной Армии докладывал Сталину 12 мая 1945 г. командующий войсками 1-го Украинского фронта И.С. Конев [11. С. 420–421]. О такого рода настроениях чехов и пражан свидетельствует и донесение политуправления этого фронта в ГлавПУРККА от 14 мая 1945 г., а также другие донесения армейских политорганов. Восторг, ликование, уважение – это главные слова при характеристике отношения чешского населения к Красной Армии [11. С. 423–427, 429–431].

Вместе с тем политуправление 2-го Украинского фронта сообщало в мае 1945 г.,

что "не все слои населения одинаково охотно участвуют в восстановительных работах. Привлечение населения к оборонным работам проходит в Чехии с значительно большими трудностями, чем в Румынии, Венгрии и Словакии", что "население сельских местностей настроено значительно дружелюбнее и более охотно участвует в восстановительных и других работах". В информации констатировалось и то, что "в кругах буржуазии и интеллигенции еще довольно сильны проанглийские настроения" [7. Ф. 17. Оп. 128. Д. 32. Л. 54, 56]. Сторонники прозападной ориентации возрожденной Чехословакии, а таких было немало, надеялись на длительное сотрудничество после войны Востока и Запада и в связи с этим – на трансформацию (в направлении демократизации) советского строя и его методов реализации своей внешней политики, т.е. отказ от советизации и насильственного установления коммунистических режимов [12. С. 125–145; 13. С. 19–22]. Но в целом, видимо, можно сказать, что русских в Чехии ждали.

Вторая группа стран – Словакия и Болгария. Обе небольшие страны роднило их положение сателлита по отношению к Германии в годы войны, а также достаточно прочные русофильские традиции. Разница состояла в том, что первая участвовала в войне на стороне Третьего рейха и имела своих солдат на советско-германском фронте (правда, эта война не была популярна в стране), а вторая не воевала против СССР. Как известно, войну Болгарии объявил 5 сентября 1944 г. Советский Союз, а через несколько дней советские войска вступили на ее территорию. Словакия же до конца войны не оставила своего патрона, Гитлера, по воле которого и было создано это государство. У словацкого президента Й. Тисо не было иной альтернативы: немецкий посланник в Словакии Г.Э. Лудин еще в 1941 г. точно определил возможные перспективы для самого Тисо в случае поражения Германии – чешская тюрьма или большевистская виселица. Сам Тисо, сначала довольно популярный в Словакии, политический деятель, в конце войны утратил значительную часть своего авторитета в стране из-за негибкого по отношению к Германии курса. После подавления Словацкого национального восстания страна была оккупирована гитлеровцами [3. С. 411–429]. В конце войны среди германофильствующей группировки в Словакии стали шириться настроения алибизма. Одним из наиболее ярких примеров этого стал переход военного министра словацкого правительства Ф. Чатлоша на сторону повстанцев в начале восстания, а затем переправка его в Москву, где он пытался предложить свои услуги в целях более быстрого продвижения Красной Армии, которые не были приняты [14; 15].

Одновременно с разложением пронемецкого лагеря в Словакии активизировались силы, поддерживавшие идею восстановления Чехословакии, которую разделяли и коммунисты, хотя среди них, как в руководстве партии (например, Г. Гусак), так и на местах было много сторонников создания "Советской Словакии" и присоединения ее к СССР. Такой поворот был расценен тогда Заграничным бюро КПЧ в Москве как нежелательное забегание вперед и поэтому отвергнут. Г. Гусак в сообщениях о положении дел и настроениях в Словакии, подготовленных им в начале 1945 г. для Разведуправления Генерального штаба Красной Армии и Загранбюро КПЧ, в частности утверждал, что "после 1917 г. рабочие массы обратили свои взоры к СССР, считая его образцом в разрешении социально-экономических проблем", что "весь словацкий народ желает наиболее тесной связи с Советским Союзом", что "Словакия подготовлена в психологическом и политическом отношении к приходу Красной Армии", что "значительная часть населения с коммунистической ориентацией заранее приветствует Красную Армию, надеясь с ее приходом получить возможность осуществления своих социальных и экономических порядков" [7. Ф. 495. Оп. 74. Д. 557. Л. 21–40]. Он полагал, что 70–80% населения Словакии настроены просоветски. Думается, что это было преувеличением, если понимать под этим установление советского строя, но, вероятно, отражало широкое распространение симпатий к России в словацком обществе. Вот как описывал настроения на территории Средней Словакии известный военный корреспондент газеты "Комсомольская правда" Крушинский, находившийся

там с 27 сентября по 6 октября 1944 г., т.е. во время Словацкого национального восстания: "Для царившего здесь политического настроения самым характерным было чувство дружбы к Советской России и Красной Армии. Здесь видят в нас естественного, желательного и единственно возможного освободителя. Имеющихся здесь советских офицеров предупредительно приветствуют не только все военнослужащие, но также жители (многие поднятием сжатой руки)... Я видел на улице английских и американских офицеров. Они, безусловно, не встречали такого выражения симпатий... С несомненной искренностью население и солдаты (словацкой армии. – В.М.) ждут прихода частей Красной Армии". Вместе с тем Крушинский указывал "на опасения многих интеллигентов, что они будут лишены материальных удобств", что "произойдет немедленное и механическое уравнивание по беднякам, что будут пересчитаны скатерти и простыни и т.д." [7. Ф. 17. Оп. 128. Д. 708. Л. 12]. Но несмотря на имевшиеся у части словацкого населения опасения, советских солдат в Словакии ждали и встречали хорошо. Правда, ореол освободителей несколько потускнел в результате деятельности органов СМЕРШ и НКВД, а также новых чехословацких властей, приведшей к репрессиям против словаков, поддерживавших режим Тисо¹.

Красная Армия вступила на территорию Словакии осенью 1944 г., и в течение примерно полугода здесь шли бои. Донесений армейских полторганов о положении в стране и настроениях ее населения довольно много; некоторые из них направлялись ГлавПУРККА в ЦК ВКП(б) для сведения и использования в работе его отделов. Так, в феврале 1945 г. сообщалось, что большинство населения освобожденных районов "проявляет живой интерес к внешне-политическим и военным событиям", что с удовольствием воспринимаются вести о победах Красной Армии на территории Германии, что сильны антинемецкие настроения ("более сильны, чем в Венгрии"), а в районах, в прошлом оккупированных Венгрией, – антивенгерские настроения, тесно переплетающиеся со словацкими сепаратистскими тенденциями, особенно свойственными представителям интеллигенции. Сообщалось также, что на освобожденных Красной Армией территориях "ведущую роль играют организации коммунистической партии", которые, однако, не имеют "ясной линии поведения", а многие "высказываются за немедленное установление диктатуры пролетариата" [7. Ф. 17. Оп. 125. Д. 320. Л. 39–42]. В донесении от марта 1945 г. утверждалось, что "подавляющее большинство населения хорошо относится к Красной Армии, видит в ней освободительницу от ига немецко-фашистских захватчиков", что "среди всех слоев населения широко распространены антинемецкие настроения". Вместе с тем сообщалось и о фактах недовольства, связанных с действиями органов Красной Армии при закупке для нее продовольствия, с отдельными фактами мародерства и насилия со стороны советских солдат [7. Ф. 17. Оп. 125. Д. 320. Л. 48–51]. В сообщении о положении в освобожденной Братиславе говорилось: "Население встречает наши войска хорошо", выражает "свою горячую благодарность Красной Армии, протянувшей руку помощи словацкому народу". В частности, упоминалось, что известный словацкий писатель Я. Есенский, переведший на словацкий язык произведения Пушкина, Блока, Маяковского, заявил представителям Красной Армии. "Вы освободили нас от ига наших вековых врагов – немцев и венгров. Мы всегда следили за вашей борьбой и ждали вас. Словацкая интеллигенция считает русских своими старшими братьями. Мы очень рады приходу Красной Армии". Аналогичных сообщений было множество [7. Ф. 17. Оп. 125. Д. 320. Л. 79–81, 139–140; Оп. 128. Д. 32. Л. 42]. Известные автору как опубликованные [11. С. 256, 273–275, 279 и др.], так и неопубликованные документы дают основание полагать, что в целом для словаков в конце войны были характерны

¹ По утверждению словацкой Ассоциации граждан, насильственно вывезенных в СССР отрядами НКВД, в Советский Союз в первые послевоенные годы были депортированы десятки тысяч жителей Восточной Словакии. Еще в сентябре 1990 г. Комитет чехословацкой общественности по правам человека направил правительству СССР и ЧСФР письмо с предложением создать межправительственную комиссию для изучения всех аспектов этой проблемы. Было ли что-либо предпринято для практического решения этого вопроса, автору не известно [16].

антинемецкие, антивенгерские и прорусские (для какой-то части и просоветские) настроения независимо от ориентации на сохранение самостоятельного государства или восстановление Чехословакии. Это, конечно, не означает, что среди части населения (в донесениях чаще всего говорилось о представителях интеллигенции и зажиточного крестьянства), особенно под воздействием немецкой пропаганды и верных Германии властей, перед приходом Красной Армии не наличествовали нежелание нести тяготы военного времени и страх за свою жизнь и имущество [7. Ф. 17. Оп. 128. Д. 32. Л. 3–5, 18, 34; 11. С. 256–257, 273]. "Некоторая часть населения, – говорилось в докладной записке ГлавПУРККА в ЦК ВКП(б) на имя Г.М. Димитрова в марте 1945 г., – опасается того, что Красная Армия рано или поздно введет в Чехословакии свои порядки" [7. Ф. 17. Оп. 128. Д. 32. Л. 30]. И эти опасения, как показала история, были ненаправленными.

В Болгарии, где также, как известно, были сильны русофильские настроения и где было достаточно велико влияние коммунистов, авторитет которых вырос к концу войны [3. С. 443–461], советских солдат, вступивших 8 сентября 1944 г. на территорию страны, встречали цветами, хлебом и солью, встречали как освободителей, хотя, как говорилось выше, освобождать Болгарию от иноземных поработителей им не пришлось: немецких войск на ее территории тогда уже практически не было. Поэтому и расценивается сейчас некоторыми болгарскими политиками и исследователями факт присутствия советских войск в Болгарии как "советская оккупация". Но это – сегодня, а тогда настроения большинства болгар были иными. Военные корреспонденты "Правды" В. Кожевников и М. Сиволобов, находившиеся в середине сентября в Софии, описывали восторженный прием частей Красной Армии населением, искренне братское отношение к ее солдатам и офицерам. Вместе с тем они сообщали о фактах мародерства и насилия, усматривая причину в том, что "политический аппарат Красной Армии недостаточно подготовил части Красной Армии к той обстановке, которая существует в Болгарии", а также в том, что еще "недостаточно высока дисциплина, особенно тыловых частей нашей армии, склонных заниматься барокохльством". Они отмечали и недостаточно высокий культурный и политический уровень советских комендантов в болгарских городах и селах, которые нередко "дают указания по политическим вопросам, командуют офицерами болгарской армии и компрометируют офицеров, невзирая на звания и положение, занимаемое ими". Все это, по словам корреспондентов, "кое-где вызывает разочарование и недовольство в среде болгарского народа и является благоприятной почвой для фашистских элементов, уже сейчас поднимающих голову в стране" [7. Ф. 17. Оп. 125. Д. 247. Л. 72–79].

Весьма широкое распространение в Болгарии симпатий к России вовсе не означало полного исчезновения сторонников прозападной ориентации страны, опасавшихся, особенно в связи с ростом влияния коммунистов, ее быстрой советизации и подчинения Москве. Затаились те, кто поддерживал прогерманскую политику в прошлом, но по каким-либо причинам не бежал из страны. В целом же можно, видимо, сказать, что прозападные и остаточные германо-фильские настроения находились на периферии всего спектра настроений болгарского общества. Главным же было удовлетворение фактом освобождения от германского диктата, новым сближением с Россией, ожидание резко радикализовавшимися народными массами социальных перемен, которые связывались с деятельностью левого правительства Отечественного фронта и его руководящей силы – Болгарской рабочей партии, поддержанных Москвой.

Наконец, последняя группа стран – Румыния и Венгрия, сателлиты нацистской Германии, активно участвовавшие на ее стороне в войне против СССР. Большая часть их населения не испытывала по отношению к СССР чувств, подобных чувству славянской солидарности и взаимности, не видела в нем защитника и избавителя от германского гнета. Русофильских традиций ни в той, ни в другой стране не существовало, коммунистические партии были слабы, а влияние их, хотя и возросшее к концу войны, было в общем незначительным; движение Сопротивления не отличалось массовостью и активностью. Ясно, что приближение Красной Армии к границам этих

стран внушало большинству жителей лишь страх перед грядущим возмездием: господствующими были опасения за судьбу страны, за личную жизнь и благополучие семьи, за целостность имущества. Однако и в этих странах к осени 1944 г. обозначился поворот в общественном настроении, связанный с отчетливым видением неминуемого конца Третьего рейха и поисками выхода из создавшейся ситуации с наименьшими потерями. Руководящие круги Румынии и Венгрии в связи с этим активизировали усилия по налаживанию контактов с союзниками по антигитлеровской коалиции на предмет решения вопроса о выходе из войны на стороне Германии. При этом приоритет, конечно, отдавался переговорам с западными союзниками, делалась ставка на их понимание и поддержку, хотя создавшаяся ситуация, когда Красная Армия стояла на пороге этих стран, диктовала необходимость договориться с русскими. Второй стороной выхода из тупикового положения было налаживание отношений с "советскими эмиссарами" в этих странах – коммунистами, слово и позиция которых в той конкретной обстановке не могли игнорироваться.

Это то общее, что было свойственно обеим странам в момент вступления на их территорию Красной Армии. Но были и некоторые различия: В Румынии, например, где страх перед надвигающимся возмездием заставлял население во многих местах покидать свои жилища и уходить на Запад при приближении Красной Армии, где весьма распространены были надежды на помощь и заступничество западных стран, приход армий которых ожидался раньше, чем советской, настроения достаточно резко изменились после сокрушительных англо-американских бомбардировок Бухареста и других важных промышленных центров в апреле 1944 г., унесших тысячи жизней мирных жителей; изменились в пользу русских, которые, находясь рядом (в конце марта Красная Армия перешла румынскую границу), не действовали с такой жестокостью. В обнаруженном в РЦХИДНИ Т.А. Покивайловой сообщении из Бухареста, содержащем анализ умонастроений румынского общества в мае 1944 г., говорилось, что ненависть к "англо-саксам" стала даже сильнее, чем к немцам, что страх перед русскими ослабел: население делает сравнение между поведением англо-американцев и русских не в пользу первых, что симпатии к англичанам уменьшаются, а престиж России увеличивается, что отношение к русским стало как никогда хорошим после 1917 г., что в такой обстановке друзья русских – коммунисты одержали в Румынии за один месяц больше побед, чем за 20 лет [3. С. 516]. Корреспондент одной из женеvских газет отмечал изменение внешнеполитических симпатий части румынской оппозиции весной 1944 г.: прорусские настроения, свойственные ранее лишь коммунистам и левым аграриям, распространились на более широкие политические слои. Упоминались, в частности, группировка чрезвычайно популярной в Румынии Национал-царанистской партии (НЦП), возглавляемая бывшим послом Румынии в СССР Г. Гафенку, и другие группы [3. С. 511–512]. А.В. Антосяк, знакомый с фондами Центрального архива Министерства обороны, отмечал, что в них сохранилось много свидетельств теплой встречи населением советских солдат и выражения им благодарности за освобождение от фашизма. Например, один крестьянин говорил: "Прихода Красной Армии боялись только те, кто верил немецкой пропаганде, а мы, старики, воевавшие рядом с русскими в 1916 г., русских не боялись. Мы знаем, что русские являются нашими друзьями. Они помогли нам и в 1877 г." [17. С. 228–229]. Вероятно, какие-то из подобных заявлений были действительно искренними, но не исключен и конъюнктурный характер многих из них. В связи с этим интересна объемная докладная записка советского военного корреспондента И. Константиновского "К пребыванию Красной Армии в Румынии", представленная в июле 1944 г. секретарю ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову. В ней сообщалось о силе и эффективности немецкой и о слабости советской пропаганды, подчеркивалось "наше полное невмешательство во внутреннюю жизнь занятой территории", отмечались "изжитие страха перед Красной Армией" и постепенное понимание принципов советской политики. Вместе с тем корреспондент считал, что в Румынии в условиях ее военного поражения "много возможностей для расцвета

фашистских и антисоветских настроений". "Только решительная политика в отношении Румынии, прежде всего военные мероприятия – временное занятие всей или большей части румынской территории, – а также активное политическое вмешательство, которое может проявляться косвенными, не бросающимися в глаза действиями, может ускорить внутривосточный перелом и предотвратить опасность превращения послевоенной Румынии во враждебную нам страну, представляющую благодатную почву для мелких антисоветских интриг", – писал Константиновский. Утверждая, что "отрицательное отношение к Советскому Союзу – аксиома румынской политики в прошлом", автор констатировал: «Теперь положение не изменилось к лучшему; несмотря на то, что большинство румын не любит немцев и понимает, что война проиграна, их отношение к Советскому Союзу существенно не изменилось... Из занятых нами районов бежали не только власти Антонеску и фашисты, но также и "оппозиция", деятели либеральной и национал-царанистской партии». Отмечая, что "компартия Румынии слаба и намного отстает от объективных возможностей", что она "остаётся в хвосте событий", И. Константиновский писал о "несомненном вмешательстве великих держав" в той или иной форме во внутреннюю жизнь Румынии и подчеркивал: "Кто будет активным на этом поприще, тому обеспечены большие результаты" [7. Ф. 17. Оп. 125. Д. 247. Л. 14–37].

Таковы были настроения и ситуация в Румынии, приведшие к событиям 23 августа 1944 г., которые ранее именовались в историографии как "народное", "национальное" вооруженное восстание или "антифашистская и антиимпериалистическая революция во имя национального освобождения", а теперь по большей части характеризуется как "государственный переворот", "королевский заговор", "исторический спасительный акт" и т.д. [3. С. 522–525]. Описывая эти события в записке "К положению в Румынии после перемирия" (октябрь 1944 г.), упомянутый выше Константиновский утверждал: "Масса румынского народа не участвовала в борьбе против войны и в перевороте 23 августа. Этот переворот был, по сути дела, совершен Красной Армией (видимо, имелись в виду созданные ею благоприятные условия. – В.М.). В нем участвовала небольшая группа лиц во главе с королем, которые... решили действовать, чтобы не потерять шансов на будущее. (Исключение составляли несколько коммунистов, участвовавших в перевороте.) Поэтому значительные категории румын не почувствовали себя освобожденными в результате переворота 23 августа и прихода Красной Армии. Единственные группы, которые восторженно встретили эти события, были евреи и часть рабочих". Снова отмечая, что "силы рабочего движения Румынии никак не соответствуют нынешним требованиям", И. Константиновский советовал: "Путем продуманной политики, с учетом специфики страны, можно во время контроля над выполнением условий перемирия косвенно предопределить все будущее экономическое и политическое развитие румынской страны в таком направлении, как это требуют интересы нашего государства" [7. Ф. 17. Оп. 125. Д. 247. Л. 63–70]. Этот совет, думается, пошел на пользу советскому руководству. Весьма настороженное отношение населения вызвала деятельность НКВД, проводившего на румынской территории аресты антисоветски настроенных лиц. Но были и те, кто высказывал удовлетворение этим [18. С. 31–35]. Профашистски ориентированные легионеры ("железнодорожники") уходили в подполье, а сторонники НЦП и Национал-либеральной партии (НЛП) устраивали митинги и демонстрации (например, в Бухаресте 15 октября 1944 г.), где провозглашались лозунги: "Долой коммунистов!", "Нам не нужна Красная Армия"; афиши утверждали: "Мы только избавились от одной тирании, мы не хотим попасть под другую тиранию" [18. С. 38]. Впрочем, весьма популярный в стране и пользовавшийся поддержкой Запада лидер НЦП Ю. Маниу не оставлял пока надежд на возможность добрых отношений с Москвой. В письме на имя А.Я. Вышинского от 15 ноября 1944 г., говоря от имени "крестьянского класса" и "интеллектуальных элементов страны", он утверждал, что дружба с СССР является главным условием существования Румынского государства, что любая другая политика "равноценна самоубийству". Вместе с тем он говорил и о беспокойстве в

румунском обществе, связанном с положением в Молдавии ("существуют тенденции отделить мало-помалу Молдавию от основной Румынии"), в Северной Трансильвании (задержка с установлением румынской администрации), с отправкой на советскую территорию румынских войск, сложивших оружие после 23 августа, с угрозой советского вмешательства во внутренние дела Румынии и "давления на политические чувства страны", с сокращением численности румынской армии ("болезненное унижение для Румынии") и т.д. [18, С. 50–56]. Документы свидетельствуют, что позиции "друзей" (так именовались в советских документах того времени румынские коммунисты) укрепились в Румынии с большими трудностями и лишь при политической и даже силовой поддержке Москвы.

Особенность ситуации в Венгрии состояла в том, что она в апреле 1944 г. была оккупирована немецкими войсками. Это резко склонило чашу весов в настроениях венгерского общества не в пользу Германии и привело к усилению сопротивления ей со стороны основных социальных и политических сил страны. Уже в апреле 1944 г. жандармские сводки пестрели сообщениями о постоянном усилении антинемецких настроений и о том, что рабочие "надеются и верят в советскую победу". 15 сентября в одном из донесений говорилось: "Сегодня уже не только организованные рабочие говорят о победе Советов, но и те, у которых левая агитация раньше не имела успеха" [17. С. 364]. О потере веры в победу Германии свидетельствовали и многочисленные случаи перехода венгерских солдат на советскую сторону [17. С. 365–366, 376–377]. М. Хорти активизировал поиски контактов с Западом, а затем и с Москвой. Как ответ на эти шаги 15 октября в стране был осуществлен государственный переворот и установлен прогитлеровский режим во главе с Ф. Салаша. В октябре же под руководством известного антифашиста Э. Байчи-Жилинского был разработан план общенационального восстания, который предусматривал тесное взаимодействие с Красной Армией и создание независимой демократической Венгрии. Но прежде, чем этот план был реализован, руководители готовящегося восстания были арестованы гестапо и большинство из них во главе с Байчи-Жилинским казнены [3. С. 467–506].

В октябре 1944 г., когда Красная Армия начала с востока и юга операции по очищению территории Венгрии от частей вермахта, а гитлеровская пропаганда запугивала жителей встречей с "красным страшилищем", "красным дьяволом", население было взбудоражено слухами о депортациях мужского населения с занятых советскими войсками территорий (по некоторым сведениям, они достигали 40–60 тысяч человек), о сталинских лагерях и деятельности НКВД [3. С. 496, 500]. Это заставило жителей многих городов, в том числе таких крупных, как Ниредьхаза, Дебрецен, Сегед, эвакуироваться в центральные районы. Вместе с тем определенные слои населения, в первую очередь часть рабочего класса крупных промышленных центров, а также часть венгерской интеллигенции, приветствовали приход Красной Армии, о чем сообщалось в донесениях ее политорганов [17. С. 374–375]. Имели место случаи взаимодействия частей Красной Армии с вооруженными рабочими отрядами при освобождении городов, например Мишкольца.

Созданное в Дебрецене с одобрения и при поддержке Москвы² Временное национальное правительство, еще в декабре 1944 г. объявившее войну Германии, 20 января 1945 г. подписало в Москве соглашение о перемирии. Согласно документу, наруженному Б.И. Желицким в РЦХИДНИ, представитель советского военного командования сообщал наверх, что факт заключения перемирия вызвал в Венгрии всеобщее одобрение, однако отрицательно сказались на настроениях населения и на отношении к советским войскам такие акции, "как ошибочное выселение и аресты венгров, носящих немецкие фамилии", "факты самоуправства, мародерства и насилия со стороны отдельных советских военнослужащих". Анализируя ситуацию, автор указанного сообщения пришел к выводу о том, что "политические настроения

² В докладной записке заместителя наркома иностранных дел Деканозова на имя Сталина от 22 декабря 1944 г. говорилось: "Состав Венгерского правительства и текст правительственной декларации приняты в полном соответствии с намеченными нами проектами" [19].

населения следует признать отрицательными для нас", но "население ведет себя лояльно, что объясняется сознанием своего бессилия" [20]. Думается, что наблюдения и выводы советских военспецов были адекватны сложившейся в Венгрии ситуации.

Таким на сегодняшний день представляется ответ на вопрос, поставленный в заглавии статьи. Естественно, исследование не может считаться завершенным. Еще предстоит открыть новые документы из ныне вообще недоступных (Главное разведывательное управление Красной Армии, НКВД) или малодоступных (Министерство обороны) для рядового российского исследователя архивов. Особенно важны частично уже попавшие в поле зрения ученых аналитические материалы советских военных и прочих специалистов тех лет, в которых представлена обобщающая картина пребывания Красной Армии в странах Восточной Европы. Еще многое предстоит сделать для выяснения позиций и настроений отдельных слоев и групп населения стран региона на завершающем этапе войны, сопоставить заявления отдельных политических деятелей, которые нередко делались от имени народа, с действительным положением дел. Стоит подчеркнуть еще раз то, что исследование вопроса о настроениях общества, частью которого являются и феномены русофильства, русофобии, антисоветизма и т.д., требует конкретно-исторического подхода для каждой страны и в каждый данный момент. Иначе могут возникнуть стереотипы, от которых потом трудно избавиться. И последнее: действительно полное и всестороннее изучение указанной проблемы может быть осуществлено лишь совместными усилиями историков, философов, литературоведов, культурологов, психологов и других гуманитариев. Однако это вовсе не означает, что каждый из них по отдельности не может внести свою лепту в изучение проблемы. Такая попытка предпринята и автором настоящей статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Славяноведение. 1998. № 1. С. 3–10.
2. *Марьина В.В.* Чешское общество о советско-германском пакте 1939 г. и начале второй мировой войны // Вопросы истории. 1990. № 7.
3. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939–1945 гг. М., 1995.
4. Русский архив. 14. Великая Отечественная. 3(1). СССР и Польша. 1941–1945. К истории военного союза. Документы и материалы. М., 1994.
5. НКВД и польское подполье. 1944–1945 гг. (По "Особым папкам" И.В. Сталина). М., 1994.
6. *Đuretić V.* Saveznici i jugoslovenska ratna drama. Beograd, 1985. Knj. 1, 2.
7. Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории.
8. Архив внешней политики Российской Федерации.
9. *Odboj a revoluce.* 1938–1945. Praha, 1965.
10. *Бенеи Э.* Демократия сегодня и завтра. (Вступительная статья В.В. Марьиной) // Вопросы истории. 1993. № 1; 3.
11. Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. М., 1985. Т. 4. Кн. 2: Декабрь 1943 г. – май 1945 г.
12. *Марьина В.В.* ВКП(б) и КПЧ. 1945–1948 гг. // Сталин и холодная война. М., 1998.
13. *Марьина В.В.* ВКП(б) и КПЧ: от доверия к подозрительности. 1945–1948 гг. // Февраль 1948 г. Москва и Прага. Взгляд через полвека. М., 1998.
14. Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ. Уголовное дело по обвинению б[ывшего] главнокомандующего словацкой армией Чатлош Фердинанда.
15. *Marjina V.* Vázeň butyrskej cely // Historický časopis. Bratislava, 1996. № 4.
16. Московские новости. 1991. № 1.
17. Советский Союз и борьба народов Центральной и Юго-Восточной Европы за свободу и независимость. 1941–1945 гг. М., 1978.
18. Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест. 1944–1946 гг. Документы российских архивов. М., 1998.
19. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг. М.; Новосибирск, 1997. Т. 1: 1944–1948 гг. С. 113.
20. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Военно-исторические очерки. Кн. 3. (В печати).



© 1999 г. А.В. ЛИПАТОВ

МЕЦЕНАТСТВО В ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА КАК СФЕРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЭПОХ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Высокая культура – та система духовных и материальных ценностей, которая свойственна наиболее образованным слоям и которой пользуются в основном наиболее состоятельные слои, материально поддерживая первых и используя их и плоды их деятельности. Эти две взаимосвязанные и взаимопроникающие сферы носителей высокой культуры (т.е. среда создающая и среда использующая и поддерживающая) в конечном итоге воздействуют на культуру всего общества в целом и как бы олицетворяют ее общенациональные ценности, создаваемые и развиваемые наиболее талантливыми представителями всех народов Речи Посполитой как составляющих понятие политической нации. Носители высокой культуры были представлены в основном наиболее образованной частью аристократии и высшего духовенства, шляхты (преимущественно из состоятельных слоев этого сословия) и духовенства среднего уровня, в значительно меньшей степени – городским патрициатом. Представители высокой культуры, получая (или завершая) в значительной своей части образование на Западе, способствовали развитию культуры национальной в русле ведущих тенденций Европы своего времени. С особой полнотой это отразил ренессансный XVI в., следующее же столетие войн и разрухи постепенно сузило границы высокой культуры. На первый план выдвигается культура сарматского барокко.

Сарматизм – своего рода польский аналог того современного ему традиционалистского типа русской культуры, носителями которого была преобладающая часть бояр и дворянства. И там и тут можно выделить типологически характерные черты (естественно, имеющие в каждом из этих национальных культурных кругов свое местное наполнение). Это прежде всего – культ традиций, резкое отрицание всего иностранного, неотделимая от этого убежденность в национально-государственной исключительности ("Москва – третий Рим"; "Польша – аванпост христианства", шляхетская республика как наследница республики римской), религиозное благочестие, перерастающее в фанатизм, отождествление религии с национальной принадлежностью, ощущение "своей" веры как неотделимой от национального самосознания, патриархальность, слепая привязанность к национальным обычаям, традиционному укладу жизни, национальной одежде. В России все это резко ломалось Петром, в Речи Посполитой с ее системой шляхетской демократии такая практика была невозможна. Политические лидеры всегда должны были считаться с настроениями шляхты. Для

Липатов Александр Владимирович – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

достижения своих целей они вынуждены были заигрывать с шляхетскими массами, панибратствуя (отсюда это слово перешло и в русский язык) – т.е. будучи с ними как "пан и брат", равный среди равных. С этим связан сложившийся традиционный ритуал сарматского типа общения, когда магнат, чьи владения порой превышали многие государства Европы, восседал "на равных" за пиршественным столом с каким-нибудь шляхтичем-однодворцем. Одни представители аристократической олигархии – европейски образованные и представляющие современный им тип западной культуры, просто должны были считаться с сарматскими традициями, другие (как правило малообразованные) – и впрямь искренне представляли и защищали эти традиции и отношения, искренне жили ими. Одним из наиболее значительных примеров первых в переходный период от Барокко к Просвещению были С. Лещинский и Я.К. Браницкий, вторых – некоронованные короли Литвы Михаил Казимеж (1702–1762) и Кароль Станислав (1734–1790) Радзивиллы, отец и сын, необычайно популярные среди шляхетских масс и вошедшие в историю и легенду. Лещинский и Браницкий представляли тип образованности и культуры, подобный тому, который в России той же поры представляли такие "западники", как боярин Борис Петрович Шереметев, князь Борис Куракин, граф Петр Толстой. Здесь – те же европейские манеры, одежда, стиль жизни, интересы в области искусства. Для Радзивиллов же характерен традиционный (сарматский) тип общения, одежды, прически, столь же традиционный тип времяпрепровождения – охота, пьянство в мужской компании, где (также по традиции) преобладала не беседа, а сменяющиеся монологи – гавэнды (разного рода рассказы о былях-небылицах, которые во времена романтизма преобразовались в особый польский литературный жанр). Все это накладывало отпечаток и на характер радзивилловского меценатства XVIII в., которое тем не менее в силу прежде всего престижных соображений также ориентировалось на высокую культуру [1].

Более полному пониманию исторических судеб общекультурных и художественных тендеций, а тем самым – уяснению взаимосвязей и преемственности эпох способствует выявление определенных социальных факторов, стимулирующих их развитие. В этом отношении важным для судеб искусства и культуры был институт меценатства – государственного, церковного, частного.

Меценатство в своих видах институциональной организации и типах функционирования было самым непосредственным образом связано с личностью мецената и во многом именно им детерминировано. Вот почему имена некоторых меценатов стоят у истоков кристаллизации общеевропейских по своему значению явлений культуры и искусства. Достаточно вспомнить помимо широко известных фактов античности (откуда ведет свою родословную само это явление и связанное с ним название) возникновение готики – стиля, создателем которого был аббат Сугериус. Итальянский Ренессанс зарождался и обрел решающий вес в духовной жизни благодаря меценатству Медичией. Такие меценаты не только поддерживали, но и благодаря личным своим качествам участвовали в возникновении и развитии новых видов художественного и – что с этим связано – философско-эстетического, общественного, политического, наконец, хозяйственно-экономического типов мышления целых народов и их культур – типов, отражающих и знаменующих целые эпохи истории.

Развитие высокой культуры и связанного с ней типа искусства и литературы в рамках церковного и королевского меценатства характерно для Речи Посполитой по крайней мере со времен позднего Средневековья. В этом отношении знаменательно меценатство епископа, а затем кардинала Збигнева Олесницкого (1389–1455), видного политика, участника битвы под Грюнвальдом. Королевское меценатство представлено обширной деятельностью Казимира Великого, который, в частности, создал Краковский университет (1364). Позднее это первое в стране высшее учебное заведение (где также обучались представители восточного славянства и Западной Европы) оказалось в кругу меценатства королевы Ядвиги (ок. 1374–1399). Она же основала и общежитие для студентов Великого Княжества Литовского (т.е. этнических литовцев, белорусов, украинцев) при первом в Центральной Европе

Пражском университете. После ее смерти великий князь литовский и король польский Владислав II Ягайло, реализуя завещание супруги, реорганизовывает и расширяет деятельность Краковского университета, который дал Европе М. Коперника, А. Фрыч-Моджевского, Я. Кохановского и целый ряд других известных в свое время деятелей науки, искусства, культуры и политики.

Со времен Ягайлы начинается уже совместная история польско-литовской государственности со всеми вытекающими отсюда последствиями в разных сферах общественной жизни, включая художественную. При всей, порой драматической сложности совместного бытия формируется тот общий тип высокой культуры, которая объединяла просвещенные круги народов Речи Посполитой¹. Украинец Юрий Котермак из Дрогобыча, белорус Франциск Скорина, литовец Мартинас Мажвидас были представителями той же образованности, что и их польские собратья. В свою очередь целый ряд поляков (Миколай Гуссовский², Мачей Стрыйковский, Мачей Казимеж Сарбевский, Шимон Будный и др.), благодаря своей деятельности и творчеству на землях этих своих соседей, органично вошли также и в историю их культуры и литературы. В таких условиях ренессансное меценатство на этнических польских, литовских, украинских и белорусских землях, вошедших в состав Речи Посполитой, начинает постепенно обретать межнациональное значение, играя важную общекультурную роль при всем наличии национальных и конфессиональных различий. Эта сложная проблема нуждается в особой, детальной разработке. Здесь она только намечена. Причем основное внимание сосредоточено на одном аспекте. Его освещение поможет уяснить то, что исторически сближало соседние народы, а тем самым одновременно и вводило их в общий круг европейской культуры.

С точки зрения истоков ренессансного меценатства в Речи Посполитой показательна меценатская деятельность короля Яна I Ольбрахта (1459–1501) или таких представителей городского патрициата, как клан Бонеров, среди которых особое место принадлежит Северину Бонеру (1486–1549) – придворному банкиру Зыгмунта I, сенатору, политическому деятелю. Он поддерживал контакты с польскими и западноевропейскими (особенно немецкими) гуманистами, в числе которых был и Эразм Роттердамский.

¹ Проблемы истории отдельных национальных культур (литовской, украинской, белорусской, еврейской, немецкой, татарской, караимской и др.) на территории Речи Посполитой в их взаимодействии с культурой польской – особый и отнюдь еще до конца не разработанный комплекс вопросов. В предлагаемом исследовании основное внимание сосредоточено на польскоязычной культуре, которой по мере развития польско-литовской государственности суждено было стать общегосударственной культурой (причем одной из ее наднациональных по своим функциям особенностей было также и посредничество в распространении значительнейших европейских веяний в культурах народностей, оказавшихся волею исторических судеб в границах Речи Посполитой).

² Этническая принадлежность М. Гуссовского, которого считали "своим" поляки, белорусы и литовцы, теперь на основании обнаруженных документов научно установлена [2. С. 312–318]. Однако меняет ли это саму суть вопроса, если принимать во внимание конкретные исторические условия сосуществования соседствующих народов в границах одного государства, вхождение их дворянства в общее понятие политической нации, обусловленное этим взаимодействием их культур и как результат – творческое взаимообогащение писателей, представляющих эти культуры? Сведение же целого комплекса проблем к этническому происхождению в данном случае не только все неимоверно упрощает, но и прежде всего искажает историческую специфику прошлого и исторически обусловленную ментальность того времени.

Общность определенной системы ценностей объединяла представителей разных народностей и способствовала взаимопроникновению их культур и "взаимовхождению" в эти культуры – особенно в условиях существования в рамках одного государства. В свете этого можно понять, почему немецкое население польских городов поддерживало не крестоносцев, а Речь Посполитую. Грюнвальдская битва была выиграна благодаря совместным усилиям различных народностей Польско-Литовского государства.

Изложенные суждения и приведенные факты отнюдь не снимают проблемы национальных противоречий и конфессиональных распрей, по-разному проявляющихся в конкретных исторических ситуациях. Речь идет лишь о необходимости конкретно-исторического подхода к сфере национальных культур.

Меценатство в Речи Посполитой – своеобразное отражение степени развития местной культуры, и одновременно – непосредственный результат прямых контактов с крупнейшими центрами западноевропейской духовной жизни и прежде всего – с Италией. Со времен Средневековья поляки учились в здешних университетах, сюда, помимо дипломатов и лиц духовного звания, непременно приезжали представители польской аристократии, шляхты и городского патрициата, которые отправлялись в заграничные путешествия, являющиеся тогда частью воспитания, образования, культурного времяпрепровождения. После возникновения Польско-Литовского государства выезжают на Запад уже проторенными и ставшими традиционными путями также и представители литовской, украинской и белорусской народностей. Возвращаясь в родные края, они стремились привить здесь ренессансную культуру и свойственный ей тип общения.

Одним из первых ныне известных создателей ренессансного центра культуры был львовский архиепископ, известный прозаик и поэт (писавший на латыни) Гжегож из Санока (ок. 1407–1477). Его биография известна прежде всего благодаря итальянскому гуманисту Филиппо Каллимаху Буонакорси (*Vita et mores Gregorii Sanocsei*, 1476). Германия, учеба в Краковском университете, а затем пребывание при дворе папы Евгения IV в Болонье, Ферраре и Флоренции, с которым был связан целый ряд гуманистов, предопределили характер воззрений и круг интересов одного из первых представителей Возрождения в Речи Посполитой. Позднее он был связан с двором Варадского епископа Яноша Витеза Гараи – крупнейшего ренессансного мецената в Венгрии того времени. Став львовским епископом (с 1451 г.), Гжегож на основе новейших социально-экономических и архитектурных идей Ренессанса основывает городок Дунаюв и создает здесь культурный центр, подобный тем, с которыми он был связан в Италии и Венгрии. Его двор привлекал высокообразованных представителей светской и церковной среды, здесь в течение двух лет пребывал Филиппо Буонакорси (Каллимах).

В нарастании ренессансной культуры в Польше особую роль в начале XVI в. сыграл королевский двор Зыгмунта I Старого (1467–1548), который в 1518 г. женился на миланской княжне Боне Сфорца д'Арагона (1497–1557). Бону сопровождало около 700 итальянцев, среди которых были и такие известные в те годы гуманисты, как Целио Кальканини, Иоахан Вадианус (И. фон Ватт) и др. В поэтическом конкурсе в честь королевского бракосочетания принимали участие и польские гуманисты – Анджей Кшицкий, Вавжинец Рабе (Корвинус), Рудольф Агрикола. Высокообразованная и властная Бона сыграла важную роль в общественно-политической и культурной жизни Речи Посполитой. Она великолепно освоила польский язык и многое сделала для модернизации страны, которая стала ее второй родиной. В кругу ее меценатства были и такие видные представители польской ренессансной словесности, как А. Кшицкий, Я. Дантышек, М. Рей. Своего рода синонимом ренессансного меценатства в Польше стало имя Яна Замойского (1542–1605), известного и за пределами Речи Посполитой государственного деятеля, риторика и филолога. Выходец из шляхетской семьи, получивший образование в Сорбонне и Падуе, он, благодаря своим блестящим способностям, сделал головокружительную карьеру, а обретенные с течением лет богатства использовал для поддержки науки и искусства. Он оказал воздействие на творчество крупнейшего поэта польского Возрождения Я. Кохановского, поддерживал таких видных писателей, как Ш. Шимонович, Ф. Кленович и др. Замойский основал город Замостье, используя достижение новейшей градостроительной мысли Европы и привлекая известных западных архитекторов, художников и инженеров. Он поддерживал торговлю и ремесла. Создал (1595) знаменитую Замойскую Академию – третий после Краковского (1364) и вильненского (1578) университет Речи Посполитой – с собственной типографией и современной библиотекой.

В XVII в. известна меценатская деятельность Станислава Любомирского (1583–1649) – краковского воеводы, крупного политического и военного деятеля. Он по-

бывал в Италии и других странах Запада. Как меценат поддерживал Краковский университет и школы пиарского ордена. Основывал при монастырях библиотеки, коллекционировал произведения искусства, строил на свои средства множество различного рода сакральных и светских зданий для общественных нужд. При его дворе, поддерживавшем традиции высокой культуры, был оркестр, которым одно время руководил дирижер и композитор Ф.Ф. Бухнер, получивший музыкальное образование в Германии, совершенствовавший его в Италии и Франции. Среди вокалистов были певцы, специально приглашенные из Италии. Меценатство Любомирского охватывало и литераторов. Благодаря этому имя его вошло в историю литературной жизни позднего Возрождения и Высокого Барокко [3].

С меценатством изначально и тесно связана история польского светского театра XVI–XVIII вв. Более того, самим своим существованием на протяжении двух веков он обязан исключительно меценатству и без него был бы немислим. Первая польская ренессансная трагедия "Отказ греческим послам" (1578) была написана Я. Кохановским для своего мецената Я. Замойского, в том же году издана и впервые поставлена во дворце последнего.

В условиях достаточно слабого общегосударственного начала (ограниченная шляхетскими вольностями королевская власть), религиозного и политического плюрализма, а также организационного и административного полицентризма меценатство вообще играло особо важную роль в культурной жизни Польско-Литовского государства. Поддерживая определенные, уже существующие веяния в национальном искусстве или перенося современные западноевропейские тенденции на местную почву, приглашая западных (в ряде случаев – весьма известных) представителей творческой среды и способствуя обучению (также и за границей) местных талантов, создавая современнейшие (в сопоставлении с Западом) архитектурные сооружения, парковые ансамбли, театры, различного рода учебные заведения, организуя художественно-литературные салоны как место общения высокообразованных людей и представителей искусства, меценаты способствовали непрерывности развития общегосударственной (межнациональной по типу своего функционирования) культуры даже в самые трудные для страны исторические периоды. Эта непрерывность охватывала и качественную суть: функционируя преимущественно в сфере высокой культуры, меценатство способствовало преемственности высших духовных ценностей и сохранению их в неблагоприятных исторических условиях (например, ренессансных обретений во времена победившей Контрреформации или свершений Ренессанса и Высокого Барокко в конце XVII – середине XVIII вв., когда преобладал сарматский традиционализм).

Исследование меценатства в Польше постулировалось еще в 20-е годы видным литературоведом и культурологом С. Лэмпицким [4]. В данной же статье предпринята лишь попытка осветить в общих, наиболее существенных чертах облик и деятельность некоторых меценатов Речи Посполитой, представить лишь некоторые, наиболее характерные фигуры во взаимосвязи с разнородными культурными веяниями времени, чтобы наглядно, рельефно и "лично" показать преемственность эпох.

Непрерывность высокой культуры обуславливала, с одной стороны, преемственность в общенациональном развитии, а с другой – эволюцию духовной жизни на основе высочайших свершений науки и искусства своего времени. В этом отношении знаменателен и переход от упадка времен сарматского барокко к Просвещению. Именно переход [5; 6] от одной эпохи к другой, а не "скачок", "переворот", "перелом" (как это традиционно квалифицируется в польской науке)³. Постепенный переход совершался в силу того, что, несмотря на общий упадок (вызванный столетием войн) параллельно с ним существовала, хотя и сузившая сферу своего охвата, но живая струя высокой культуры, продолжавшей традиции Ренессанса, насыщавшейся свершениями Высокого Барокко и западноевропейской современности. Именно в силу

³ Это просматривается по крайней мере с классического, неоднократно переиздававшегося, труда В. Смоленского [7].

своей открытости для новых явлений науки и искусства (изначально присущее ей качество) эта высокая культура исподволь подготавливала эпоху Просвещения, вливалась в нее, преобразовываясь тем самым в качественно новый исторический тип, характерный уже для "века разума". Эта взаимосвязь эпох в Польше (как и на Западе) просматривается в деятельности и роли литературных салонов – важных институтов культурной жизни Европы еще со времен Средневековья, а в той форме, которая была характерна для Просвещения – с XVII в. Именно тогда двор Людовика XIII, а затем Людовика XIV создали тот эталон общения с людьми науки и искусства и их поддержки, который был воспринят интеллектуальной элитой всех европейских стран. В Речи Посполитой XVII век, как уже отмечалось, не способствовал дальнейшему расцвету тех форм культурного общения интеллектуальной элиты, которые сформировались в эпоху Возрождения. Дошедшие до наших дней сведения о жизни высокообразованных сфер весьма скудны и фрагментарны. Можно лишь предполагать, что при королевском дворе, где в течение века наряду с традиционными итальянскими увлечениями (театр, живопись, литература, архитектура) постепенно нарастала и мода на Францию, при дворе, где выступали иностранные (прежде всего итальянские, а позднее также и французские оперные и балетные) труппы, существовала культурная атмосфера, в той или иной степени подобная той, которая была характерна для соседних западноевропейских дворов. Если речь идет о магнатах, то в первую очередь обращает на себя внимание аристократическая резиденция (Яздув, около Варшавы) Станислава Гераклиуша Любомирского (1642–1702), известного публициста, поэта, драматурга и переводчика. Крупный политический деятель, талантливый писатель, завершивший свое образование во Франции (где он бывал при дворе Людовика XIV), Испании, Италии и Германии, С.Г. Любомирский снискал у современников славу "польского Соломона" [8]. Дневниковые записи одного из итальянцев [9], посетивших дворец Любомирского, позволяют предполагать наличие здесь типа общения, характерного для салонов Запада, где столь видное место отводилось беседам о науке, литературе и искусстве, а также общению с учеными, художниками и писателями. В "саксонские времена" (1697–1763), когда на трон Речи Посполитой избирались саксонские курфюрсты, королевское меценатство наряду с магнатским способствовало развитию театрального искусства. Сперва получает распространение французский классицизм (Расин, Корнель, Мольер, Детуш, Мариво), а с 30-х годов параллельно с ним – итальянская опера и балет. Новое здание оперы вмещало свыше 500 зрителей. Варшава наряду с Веной и Дрезденом становится крупным средоточием оперного искусства в Центральной Европе.

Среди аристократических меценатов этого времени особо выделяется В. Жевуский (1706–1779) – общественный деятель, писатель и публицист. Его трагедии и комедии, которые ставились как на собственных сценах мецената, так и в других магнатских театрах, были первыми талантливыми образцами национального классицизма. На литовско-белорусских землях выделялись придворные сцены М.К. Радзивилла и его супруги Уршули, которая выступала и как драматург. Позднее меценатскую деятельность родителей продолжил и развил К.С. Радзивилл. Большую роль сыграло и меценатство братьев Залуских – Анджея Станислава (1695–1754) и Юзефа Анджея (1702–1774) – епископов, крупных общественно-политических деятелей. На свои средства они создают первую в стране публичную библиотеку (1747), при которой по образцу основанной Петром Петербургской академии пытаются организовать научное общество. Органичным продолжением этой линии, а одновременно стремительным ее взлетом, обусловленным как изменениями общественно-политического характера во второй половине XVIII в., так и индивидуальными качествами Станислава Августа Понятовского, было культурно-художественное меценатство этого последнего польского короля. Оно стало своего рода эталоном и своеобразным пунктом соотнесения для тех представителей интеллектуальной элиты, которые сыграли определенную роль в общекультурной и художественной жизни страны времен Просвещения.

Просветительские салоны Речи Посполитой были составной частью общеевропейской культурной жизни своей эпохи, отражением характерных для нее тенденций в искусстве, научных интересах, культуре и самом типе общения.

На Западе генетическая линия этих столь характерных для духовной жизни XVIII в. институтов просматривается непрерывно и четко – от салонов "короля-солнца" и высокообразованной аристократической элиты до салонов энциклопедистов. Здесь вырисовывается живая преемственность высокой культуры предшествующих периодов с культурой Просвещения. С тем, что если прежняя высокая культура была замкнута определенной социальной границей, обусловленной самой системой феодальных отношений и свойственной им сословной иерархией, то выросшая на ее основе культура Просвещения была по своей направленности, идеям и задуманным перспективам воплощения в жизнь – социально разомкнутой. Генетически связанная с высокообразованной средой, она в исторической перспективе адресовывалась всему обществу. Спецификой польского просветительства была своего рода борьба на два фронта: 1) опирающееся на национальные традиции высокой культуры и новейшие западные веяния противостояние культуре сарматской, отождествляемой идеологами сарматизма и малообразованными шляхетскими массами с культурой национальной; 2) противоборство с идеологией сарматизма путем насыщения традиционной высокой культуры идеями Просвещения, имеющими буржуазную суть, а потому – в условиях Речи Посполитой – воспринимаемыми определенной частью аристократии и шляхты как чуждые самой идее национального правления, отождествляемого с восходящей к эпохе Возрождения системой шляхетской республики. Следует отметить и еще одну особенность рассматриваемого явления: польскоязычная (исторически обретшая функции общегосударственной) культура Просвещения (как и во времена Возрождения, а позднее Барокко) была посредницей в проникновении новых философско-эстетических ценностей в культуры других народов Речи Посполитой. В этом отношении она играла роль, типологически подобную немецкоязычной и русскоязычной культурам многонациональных государств.

Ломка традиционных стереотипов в условиях шляхетской демократии была для правящей элиты несравненно более трудной, нежели в условиях абсолютной монархии, где исторически прогрессивные реформы вводились силой и реализовывались – там, где это было необходимо – путем насилия самодержавной власти (реформы Петра I в России, Фридриха II в Пруссии, Марии Терезии и Иосифа II в Австрии). Первые поколения просветителей Речи Посполитой, подобно своим европейским современникам-единомышленникам, были сторонниками эволюционного пути развития. В условиях шляхетской демократии перевоспитание общества через систему образования, театр, прессу и литературу представлялось вполне реальным. И здесь на первых этапах этого процесса формирования культуры нового типа особую роль сыграли салоны как своего рода центры, поддерживающие, объединяющие и координирующие усилия просветительских деятелей и саму просветительскую деятельность.

С точки зрения взаимосвязей и преемственности высокой культуры XVII и XVIII – начала XIX в., свойственных ей видов общения, воззрений, вкусов, литературных веяний особый интерес представляет молодой аристократический род Чарторыских, выдвигающийся на первый план общественно-политической жизни в начале XVIII в. Созданная кланом Чарторыских политическая партия (так называемая Фамилия) прогрессивно мыслящих магнатов и шляхты приходит к власти в 1764 г., определяя программу реформ и культурных изменений эпохи зрелого Просвещения.

Основатель Фамилии князь Казимеж Чарторыский (1674–1741) в начале своей политической деятельности был поборником профранцузской группировки, отстаивающей кандидатуру принца Конти на польский престол. Знаменательным для общекультурной ориентации К. Чарторыского был и его брак с Изабелой Морштын – дочерью крупного поэта и профранцузского политического деятеля Я.А. Морштына, женатого на француженке и непосредственно связанного с Людовиком XIV. Изабела

была фрейлиной польской королевы Марии Людвики (из рода Гонзагов), которая поддерживала профранцузскую политическую группировку и способствовала распространению французских веяний в Речи Посполитой. Получив французское образование и завершив свое светское воспитание при французском дворе, Изабела создает первый в Польше салон современного типа, который стал средоточием интеллектуальной и политической жизни той части столичной элиты, которая ориентировалась на новейший тип западной культуры. В эту же полосу времени известный поэт и политик С.Г. Любомирский строит замок в Пулавах.

Получив образование во Франции (где он бывал при дворе Людовика XIV), посетив Испанию, Италию и Германию, С.Г. Любомирский также был одним из крупнейших представителей западных (как альтернативных узкосарматской замкнутости) веяний в культуре и политике. При его дочери Эльжбете Синявской Пулавская резиденция реконструируется в духе новейших веяний в архитектуре, живописи, скульптуре, парковом искусстве. Дочь Э. Синявской Зофья становится женой Августа Казимежа. Так Пулавы оказываются в орбите Фамилии.

Усваиваемые из поколения в поколение, французские формы общения и времяпрепровождения насыщаются духом новых идей (эволюция от прециозности к просветительству) и веяниями, идеями, устремлениями, порожденными национальной действительностью. Причем особый отпечаток на облик пулавского центра накладывали личности его организаторов.

Просветительская идея республики ученых и поэтов реализуется здесь на практике не только благодаря капиталам сына Августа – Адама Казимежа и его жены Изабелы (крупнейшие после Станислава Августа меценаты) или демократизму их общения с людьми науки и искусства, но и вследствие их непосредственного участия в общей и совместной деятельности как организаторов, инициаторов, писателей и политиков. Тем самым пулавское меценатство обретает ренессансный характер, восходящий к идеалам Эллады, которая особо привлекает внимание во времена Просвещения.

Общественно-политическая, художественная, научная и культурно-просветительская деятельность пулавского центра непосредственно соотносилась с положением страны и ее социальными потребностями. Именно поэтому, местные начинания, мероприятия, тенденции и конкретные реализации при всех их интернациональных – просветительски-космополитических, общих для эпохи идейных истоках – обретали патриотическую направленность и национальный колорит. Это особенно наглядно выразилось как в философско-эстетических концепциях (обращение к национальной истории, культуре, фольклору), так и в самой моде (возвращение к национальным костюмам и некоторым традиционным формам общения, манерам поведения).

Характерными и крупнейшими фигурами общественно-культурной жизни переходной поры от Барокко к Просвещению были (помимо уже рассмотренных ранее) Я.К. Браницкий, С. Лещинский, Ю.А. Яблоновский, А. Яблоновская. Их деятельность отражает как непрерывность высокой культуры во времена преобладания сарматского барокко, ее органичную связь с современностью ведущих стран Запада (вопреки националистической самоограниченности сарматизма), так и непосредственные истоки тех начинаний в культуре, искусстве, науке, общественно-экономической жизни, наконец, в самом типе мышления, которые в значительной степени подготовили почву для Просвещения и предопределили его облик во второй половине XVIII в.

Гетман Ян Клеменс Браницкий (1689–1771) по своему духовному складу, образованности (юные годы он провел во Франции) и деятельности – человек "века разума". Он предвосхищает многие начинания просветителей. Достаточно вспомнить, что Кадетский корпус был создан (1765) по инициативе Станислава Августа спустя 20 лет после военно-инженерной школы Браницкого, оперная премьера на сцене Национального театра – шесть лет спустя (1773) после оперной премьеры на сцене гетмана. В кругу близких ему людей, которых он поддерживал, был родоначальник польского Просвещения С. Конарский. Построенная с участием известных европейских архи-

ткторов, скульпторов и художников великолепная барочная резиденция Браницкого в Белостоке снискала славу "Подляского Версаля". Здесь побывали саксонские курфюрсты и польские короли Август II и Август III, король Станислав Август, император Австрии Иосиф II, король Франции Людовик XV, будущий русский император Павел I. Дворец служил не только для великосветских приемов. Значительную часть помещений в разное время занимали первая в Речи Посполитой школа военных инженеров и строителей, акушерская школа, пансион благородных девиц. "Подляский Версаль" со своей знаменитой библиотекой, картинной галереей, коллекцией скульптур и театром (на сцене которого выступали и европейские знаменитости) превратился в один из важных центров культуры, науки и просвещения, чье значение выходило далеко за рамки частной благотворительности и личных увлечений самого мецената. Здесь, пользуясь его покровительством, творили известные художники, скульпторы, архитекторы, музыканты, писатели. Меценатская деятельность Браницкого охватывала и хозяйственно-экономическую, а вместе с ней и культурную жизнь громадной латифундии, где проживали представители польской, белорусской, украинской, литовской, еврейской, немецкой и татарской народностей. Ее центр – Белосток – заново спланированный, строился по единому плану в духе современной градостроительной мысли. Перемены коснулись и других населенных пунктов вместе со стимулируемым Браницким развитием торговли, ремесел и образования. В своем завещании он оставил на просветительские цели громадную по тем временам сумму (51777 талеров).

В процессе кристаллизации новой общественно-политической концепции, связанной с передовым для того времени типом культуры, большая роль принадлежит "королю-философу", как его нарекли современники, Станиславу Лещиньскому (1677–1766). Автор многочисленных трактатов на философские и социально-политические темы, написанных в основном на французском языке и издаваемых во Франции, а также (в переводах) – в Польше, Австрии, Германии, Англии, Голландии, Италии, он пользовался общеевропейской известностью. В своих трудах Лещиньский разрабатывал актуальнейшие для европейской мысли проблемы. В этой связи особо следует отметить известную в свое время и весьма успешную его полемику с некоторыми воззрениями Ж.Ж. Руссо [10]. Вынужденный эмигрировать, он как тесть Людовика XV обретает во Франции вторую родину, получив в пожизненное владение Лотарингское герцогство и Бар. Его меценатство, органично вырастающее из национальных традиций высокой культуры Речи Посполитой, было – в силу уже традиционных связей последней с Францией – естественной составной частью современной французской культурной жизни, развивающейся в русле идей Просвещения. В те же годы, что и Браницкий в белостокской латифундии, Лещиньский в Лотарингии способствовал оживлению ремесел, сельского хозяйства и торговли, реализует целый ряд благотворительных мероприятий, организывает сеть школ. Его двор становится важным центром польско-французских связей. Здесь, в Люневиле, Лещиньский в 1737 г. создает военную академию, а в 1750 г. в Нанси – знаменитую академию и публичную библиотеку, реализуя те же идеи, что в это же время пытались провести в жизнь у себя на родине и братья Залуские. Практические свершения и меценатство Лещиньского вошли в историю культуры как Польши, так и Франции, где память о нем жива по сей день. Люневильская резиденция Лещиньского, его учебные заведения и библиотека служили как польскому, так и французскому Просвещению. Здесь пребывали поляки, завершающие свое образование во Франции. В Люневиле они встречались с гостями Лещиньского – Монтескье и Вольтером.

Культурная деятельность Лещиньского, которую (в силу ее идейно-философских основ) можно рассматривать как зарождение меценатства уже в собственно просветительском качестве, обретала непосредственный резонанс в культуре, литературе и искусстве Речи Посполитой времен Просвещения. Одновременно это и пример того, как меценатство и культурные связи определяют типологию литературного развития в рамках одной эпохи.

Еще один пример мецената, чья деятельность так же, как и в случае С. Лещинского, выходила за собственно национальные рамки, – Юзеф Александер Яблоновский (1711–1777), видный библиограф, историк, специалист в области геральдики. Полученное им домашнее образование завершилось пребыванием во Франции, Германии, Голландии и Англии. Стронник и сподвижник С. Лещинского, он и после эмиграции "короля-философа" поддерживает связи с Люневилем. Благодаря государственной, дипломатической и военной деятельности Яблоновский был известен далеко за пределами Речи Посполитой. Член академий в Болонье, Падуе, Риме и Париже, Яблоновский устанавливает контакты с рядом зарубежных ученых, поддерживает представителей науки и искусства Речи Посполитой (среди них – братья Залуские, Я.Д. Яноцкий, Ф. Богомолец и др.), основывает публичную библиотеку. В 1761 г. он создает в Гданьске научное общество, которое в 1768 г. под названием "Societas Jablonoviana" переводит в Лейпциг (там оно просуществовало вплоть до второй мировой войны и было возобновлено в ГДР). Популяризатор идей Коперника, инициатор создания первого атласа земель Речи Посполитой, автор трудов на польском, латинском и французском языках, Яблоновский способствовал укоренению и развитию современных идей в науке, культуре, государственной и общественной жизни страны.

Это лишь отдельные, но весьма характерные примеры, число которых можно существенно расширить, обращаясь к деятельности целого ряда других меценатов и связанных с ними институтов. Именно в кругу этих явлений отчетливо вырисовываются не только водоразделы, но и связи эпох. Причем оказывается, что не только Возрождение, но и Высокое Барокко было тем кладезем традиций, к которому обращались просветители. От высокого Барокко до Просвещения прямая линия просматривается (и воплощается) уже в деятельности меценатов, поддерживающих и способствующих дальнейшему развитию и распространению тех же идейных и художественных тенденций, тех же хозяйственно-экономических мероприятий, которые станут ведущими во второй половине XVIII в. С этими меценатами были связаны и имена тех общественно-политических деятелей, писателей, художников, ученых, практиков и специалистов, а также их учеников и последователей, перед которыми развернулось широкое поле деятельности уже после избрания (1764) на престол Станислава Понятовского.

Приведенные здесь примеры хозяйственно-экономической, общекультурной, просветительской, художественной, научной и издательской деятельности показывают, как меценатство в его частном проявлении и местном значении объективно – в силу своего социально-политического резонанса – обретает общегосударственное и международное значение, выступая как одно из составляющих общего процесса исторического развития страны и населяющих ее народов.

Платформой, где осуществлялись контакты и взаимодействия собственно просветительского и общекультурного, с просветительским не связанного, но близкого ему в силу общности духовного наследия и традиций гуманности, была культура высокообразованных сфер. Именно отсюда берет свое начало как само Просвещение, так и то живое наследие и актуальные для того времени поиски и свершения прошлого, которые Просвещение усваивало и высоко ценило.

Высокая культура как органичный сплав национального и общеевропейского развивалась и распространялась на местной почве в значительной степени благодаря целой системе меценатства. Меценатство было тем институтом в структуре общественного функционирования духовных ценностей, который соединял (развивая, распространяя и популяризируя) высокую культуру с культурой других социальных слоев. Важнейшими средствами такого рода культурной коммуникации была система образования; театр, литература, пресса, публичные библиотеки и музеи, литературные салоны. Тем самым меценатство способствовало как взаимодействию (а, следовательно, – и взаимообогащению) разных сфер и уровней культуры, так и общекультурному развитию народов Речи Посполитой, поддерживая новейшие

западные тенденции на местной почве, предоставляя возможности для проявления и развития местных талантов, которые насыщали общеевропейские по своим масштабам веяния местным, национальным колоритом. В силу этого меценатство было связующим звеном общеевропейских и национальных веяний – с одной стороны, и высокой культуры с культурой различных слоев народов Речи Посполитой – с другой. Этим обуславливается исключительно важная роль меценатства в формировании культуры Польско-Литовского государства. Здесь на протяжении эпохи Просвещения возникают институты и формы распространения культурных и духовных ценностей, выходящие за рамки частного меценатства и характерные для Европы эпохи капиталистической системы отношений. В этой связи XVIII век представляет особый интерес, а значение меценатства для общегосударственной культуры – особую, до сих пор еще в достаточной степени не разработанную проблему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sajkowski A.* Od Sierotki do Rybieńki. W kręgu Radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań, 1965.
2. *Ochmański J.* Narodowość Mikołaja Hussowskiego w świetle jego autografu // *Słowiańszczyzna i dzieje powszechne.* Warszawa, 1985.
3. *Długosz J.* Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego wojewody Krakowskiego. Wrocław, 1972.
4. *Łempicki S.* Mecenat kulturalny w Polsce (Problemy i postulaty) // *Studia staropolskie.* Księga ku czci A. Brücknera. Kraków, 1928.
5. *Лунатов А.В.* Теоретическая проблематика стыка литературных эпох // *Советское славяноведение.* 1979. № 6.
6. *Лунатов А.В.* Периодизация литературы польского Просвещения // *Советское славяноведение.* 1972. № 6.
7. *Smoleński W.* Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Warszawa, 1891.
8. Stanisław Herakliusz Lubomirski. Pisarz – Polityk – Mecenat. Wrocław, 1982.
9. *Brahmer M.* Z dziejów włosko-polskich stosunków kulturalnych. Warszawa, 1939. S. 161.
10. *Лунатов А.В.* Идеи Ж.Ж. Руссо в Польше XVIII в. и Нипуанская утопия И. Красицкого // *Польское освободительное движение XIX–XX вв. и проблемы истории культуры.* М., 1966.



© 1999 г. В. МАТУЛА

ВМЕСТО ОДЫ – ЭЛЕГИЯ (ОБ ОТНОШЕНИИ Л. ШТУРА К А.С. ПУШКИНУ)

В данной статье я хотел хотя бы кратко коснуться проблемы отношения Людовита Штура – лидера словацкого национального возрождения на его кульминационном этапе к великому русскому поэту А.С. Пушкину, 160-летнюю годовщину трагической гибели которого мы отмечали в начале 1997 г. При этом представляется необходимым особо сказать о возникновении его знаменитого стихотворения "Žel nad Puškým" ("Скорбь о Пушкине"), опубликованного в чешском журнале "Květy" 1 июня 1837 г.

При жизни Пушкина интерес Л. Штура к русскому поэту был весьма незначительным, особенно по сравнению с его отношением к другому великому славянскому поэту – Адаму Мицкевичу. Если в середине 30-х годов XIX в. Штур и его сверстники имели о Пушкине весьма поверхностное представление, почерпнутое, главным образом, из "Истории славянских языков и литератур" П.И. Шафарика (1826), то Мицкевич был уже в то время их любимым поэтом, его творчество осознавалось как один из факторов, способствовавших формированию их собственных общественно-политических взглядов и позиций. Такое восприятие объясняется не только общей атмосферой того времени, на котором после поражения польского восстания 1830–1831 гг. лежала печать сильной волны революционного полонифильства, но и непосредственной близостью к столице Габсбургской монархии – Вене. Там обучались многие молодые поляки из Галиции, связанные с тайными революционными организациями Польши и польской эмиграции, очень активно действовавшие и в среде других славянских студентов. Так, под их влияние попали словацкий поэт Само Халупко и его друг – юрист А.В. Врховский, благодаря которому уже осенью 1834 г. удалось установить весьма плодотворные связи с братиславским Чешско-словацким обществом и его секретарем Л. Штуром. Целенаправленная деятельность этого страстного словацкого полонифила способствовала тому, что Общество из школьного самообразовательного кружка превратилось по своим политическим планам в важный центр младословацкого национально-освободительного движения с ярко выраженной всеславянской ориентацией. Уже весной 1835 г. Врховский организовал для братиславского Общества большую посылку книг, в том числе – учебников польского, иллирийского и русского языков. Дарственные надписи на них представляли нередко целые стихотворения, проникнутые идеями борьбы за освобождение из-под иноземного гнета, за развитие национальных языков и славянского единства. Заслуживает особого внимания стихотворение "Глас соплеменника к доблестному юношеству славянскому", которое вписал в немецкую грамматику русского языка

И.Э. Шмидта В.С. Порошин, впоследствии прогрессивно и либерально настроенный профессор Петербургского университета. Вместе с революционными лозунгами свободы, равенства и братства он провозглашал в нем идею славянского единства и сплоченности как основу счастливого будущего всех славянских народов [1]. Поблагодарив Врховского за этот ценный дар, Л. Штур в ответном письме подчеркнул, что теперь они действительно могут быть названы "всеславянами", ибо с усердием изучают братские наречия и видят, что иначе нельзя достигнуть необходимого единства [2. S. 38]. Напомню, что это происходило всего лишь через два года после выхода в свет трактата Я. Коллара "О славянской взаимности", в котором он предлагал славянским интеллигентам, исходя из единства целей, учить славянские языки. В том же письме Штур впервые упоминает А. Мицкевича, в частности, его сочинение "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" (1832) ("Книги народа польского и польского паломничества"), приобретенное по совету Врховского и чрезвычайно воодушевившее Штура. Из стихотворений Мицкевича особенно глубокое впечатление произвела на него знаменитая "Oda do młodości", которую в Обществе не только часто декламировали, а цитаты использовали как эпитафии в своей корреспонденции, но которую разослали во все уголки Словакии, о чем писал Штур весной 1836 г. [2. S. 58]. А. Мицкевич, Й. Лелевель и все поляки, боровшиеся за свободу, были в то время Л. Штуру и штуровцам идейно, эмоционально и территориально гораздо ближе, чем русские. Глубже и богаче были и их познания в области польской литературы. Первое упоминание о А.С. Пушкине в письмах Штура датируется началом марта 1837 г. и касается уже его смерти (в письме Ц. Зоуху от 3 III 1837 г.) [2. S. 102]. Тем более удивительно, что Л. Штур уже 21 апреля 1837 г. посылает в Прагу свое стихотворение "Žel nad Pusuškým" с просьбой опубликовать его в журнале "Kvety", который в то время и особенно позже довольно часто печатал статьи словаков (сам Штур опубликовал в нем 45 статей) [3]. До возникновения штуровских "Slovenských národných novin" и "Orla tatranského" и гурбановских "Slovenských pohľadov" это чешское издание успешно восполняло отсутствие собственных словацких газет и журналов.

Из сказанного выше о том, что знали Штур и его друзья о А.С. Пушкине и его творчестве вполне закономерно возникает вопрос, почему такой быстрый и горячий отклик на трагическую смерть великого русского поэта последовал именно из Братиславы, из кругов младшего поколения словацкой интеллигенции и конкретно от его идеолога и вождя. Этот вопрос мучил и меня с самого начала профессионального интереса к этому прекрасному, революционно-оптимистическому и действительно переломному периоду словацкого национального движения и к его широким славянским взаимосвязям. Ответ на него в значительной мере дала мне работа по реконструкции и подготовке к изданию штуровских "Citov vďečnosti mladých synu Slovenska" ("Чувства благодарности молодых сынов Словакии"), значительную часть которых я нашел в 1957 г. В период своего создания неопубликованные "City vďečnosti" [4] должны были стать следующим после альманаха "Plody" (который вышел в апреле 1836 г. и оценивался как первое общее выступление штуровцев) коллективным шагом первой сознательно и строго организованной группы одного поколения, которая сама себя назвала "молодыми сынами Словакии". Сборник, содержащий оды, посвященные самым известным представителям тогдашнего славянского мира, должен был стать поэтическим манифестом всеславянских чувств и убеждений, "плодом всеславянского духа", как писал Л. Штур Д. Слободе 22 октября 1836 г. [2. S. 85]. Подобные чувства и убеждения, принявшие в этот период совершенно конкретную форму, проявляются у братиславских штуровцев во многом благодаря А.В. Врховскому, ставшему в 1836/37 учебном году после окончания им курса юридических наук в Вене действительным членом Общества. На основании многих фактов и свидетельств я пришел к убеждению, что именно Врховский был автором идеи создания, а вместе со Штуром и организатором подготовки сборника, для которого написал введение в форме адресного посвящения с обращением "достопочтенные мужи славянские" и

заключительным признанием "за вас сердце наше бьется". Он получал от своих славянских друзей необходимые биобиблиографические сведения об отдельных "юбилярах" и оценивал многие подготовленные оды.

Вацлав Святоплук Штульц, чешский друг А.В. Врховского и Л. Штура, поэт-патриот, переводчик Мицкевича, послал Врховскому также сведения о трех представителях тогдашней русской науки и литературы: П.И. Кеппене, А.С. Пушкине и А.С. Шишкове. Имя Кеппена, одного из тех, кто в своей практике успешно реализовывал идею славянской литературной взаимности – еще в начале двадцатых годов XIX в. он путешествовал по славянским землям и потом в своем журнале "Библиографические листы" регулярно информировал читателей об успехах славянской литературы и культуры – штуровцы знали из сочинений П.И. Шафарика и Я. Коллара. Равно как и другого русского "славянолюба" А.С. Шишкова – адмирала, министра народного просвещения и президента Российской академии, автора грандиозного проекта подготовки и издания словарей всех славянских языков (для реализации которого он планировал пригласить в Россию П.И. Шафарика, Ф.Л. Челаковского и В. Ганку), автора совместного с Кеппеном плана организации кафедр славистики в российских университетах. Но в альманахе должен был занять достойное место, и А.С. Пушкин, которого Штульц характеризует как одного из крупнейших русских поэтов, хотя, – как он замечает во вступлении к своей информации о нем – «насколько он "всеславянин", мне неизвестно». На этом сообщении Штульца (в заключении его он пишет, что ни у Шафарика, ни у Ганки он не смог ничего найти) следует остановиться подробнее. После сведений о дате рождения Пушкина, его образовании, и службе после окончания Лицея Штульц сообщает, что царь доверил ему роль историографа, "хотя вначале, как свидетельствуют стихи, у него были свободолюбивые взгляды". Из сочинений Пушкина он называет три тома его небольших стихотворений, опубликованных в Москве в 1829 г. и в последующие годы, и романтическую поэму "Руслан и Людмила" (Петербург, 1820), которая "обнаружила великий поэтический дар Пушкина". Возлагавшиеся на него надежды подтвердили последующие сочинения – "Кавказский пленник" и еще больше – "Бахчисарайский фонтан", за каждую строфу которого московский книгопродавец заплатил Пушкину по пять рублей. Позже, продолжает Штульц, Пушкин издал драматическую поэму "Борис Годунов" и романтическую "Полтаву". Далее, ссылаясь на писателя-декабриста, соиздателя альманаха "Полярная звезда" Александра Бестужева как на компетентного русского критика, он приводит его слова о том, что каждое сочинение Пушкина несет на себе печать оригинальности и надолго оставляет сильное впечатление. "Мысли Пушкина, – цитирует дальше Бестужева Штульц, – полны остроумия, смелы и зажигательны, речь его ясна и правильна, благозвучие его стихов – настоящая музыка: они текут, если сказать по-русски, как жемчужины по атласу". В заключение В.С. Штульц добавляет: "Вспоминанию, хотя и неотчетливо, еще об одном его стихотворении, окончание которого не было опубликовано, проникнутом, как мне казалось – пусть и в несколько аллегорической форме – духом всеславянским, чаяниями нашими" (приложение к письму В.С. Штульца А.В. Врховскому от 8 XI 1836 г.) [5].

Просьба Штульца прислать более подробные сведения об А.С. Пушкине и некоторые другие факты свидетельствуют о том, что первоначально он предполагал написать о русском поэте оду, точнее три оды, из которых лучшая должна была быть выбрана тремя специально назначенными для этого примечательного и смелого проекта "судьями". "Чувствами благодарности" представители поколения "молодой Словакии" хотели не только воздать почести наиболее заслуженным, по их мнению, представителям тогдашнего славянского мира, но и поблагодарить их за труды, освещающие дух, облагораживающие сердца. Они хотели провозгласить себя сторонниками выдвинутой ими концепции славянской взаимности, которая в посвящении А.В. Врховского названа "живительным воздухом, приводящим в движение все наши жизненные силы" [4. S. 11].

Но 10 февраля 1837 г., как раз в то время, когда собственно начиналась работа по подготовке альманаха "Чувства благодарности", А.С. Пушкин скончался. И вместо оды во славу великого русского поэта, к которому в Словакии именно в это время начали проявлять живой интерес, возникла элегия. Нам представляется в целом логичным, что ее автором стал именно Людовит Штур, развивающий и переосмысливающий с мировоззренческих позиций своего поколения колларовские идеи славянской взаимности. Благодаря работе над "Чувствами благодарности" (ведь, по видимому, именно он должен был быть одним из возможных авторов оды о Пушкине) Штур был внутренне готов к тому, чтобы в соответствующей форме – от себя и от имени своих сверстников – выразить скорбь по поводу смерти гиганта русской поэзии и объявить себя поклонником его творчества.

Элегия Штура на смерть А.С. Пушкина вышла без тех осложнений, которых он опасался [2. S. 108, 113] уже 1 июня 1837 г. Несмотря на скудные сведения о поэте и его творчестве, а также саму форму стихотворения, затрудняющую понимание замысла автора (это единственное стихотворение Штура, написанное классическим элегическим дистихом, если не считать его известную эпиграмму на Модру и эпитафию Яну Голлому) и многие "темные места", в элегии немало заслуживающих внимания мыслей, особенно в последних строках. Это, прежде всего, искренняя вера в достижение желанного польско-русского и – шире славяно-русского примирения после кровавого подавления польского восстания 1830–1831 гг. и репрессий против поляков, травмировавших прогрессивную европейскую общественность и молодое поколение в славянских землях и опровергавших колларовские представления о едином великом славянском наднациональном целом: "Слава, оправившись от гнева, теперь печальные очи на могилу направляет, в которой всех своих детей любимых видит". Далее констатируется известный факт о скудных знаниях словаков о Пушкине и его творчестве: "Все же мало соотечественник наслаждался залетевшими сюда мелодиями, хотя воодушевлялся духом Пушкина...", но тем не менее "впечатление от этих песен, широких как думы Славии побуждает соотечественника скорбеть о певце". Наконец, почти пророческое убеждение: "Хотя погиб Пушкин, великую Славию всегда будет облетать дух, что в лютне его живет. Он залетит на самую высокую вершину славянских гор: широкие долины источником похвал вечно будут" [6].

Русский публицист А.Н. Сиротинин, который хорошо знал и переводил поэзию славянских народов, с полным правом назвал элегию Штура "первым цветком в славянском венке на гроб русского поэта" [7]. Л. Штуру было тогда около 22 лет. К его чести он первым в нерусской среде воспел Пушкина и сделал это так искренне и проникновенно.

Год смерти А.С. Пушкина стал в Словакии началом заметного повышения интереса к его творчеству. К. Кузmani вставил в свою новеллу, или скорее философское эссе, "Ладислав" (так его характеризует М. Пишут [8. S. 67]) в оригинале (и латиницей) пушкинскую "Песнь о вещем Олеге" под названием "Смерть Олега" [9. S. 232–233]. А в том же третьем томе "Гронки", к сожалению последнем, Карол Браксаторис, старший брат Андрея Сладковича, поместил обширное эпическо-лирическое сочинение "Судьба или Олег, князь русский" [9. S. 3–20], в котором представляет своего героя не только как русского национального, но и всеславянского витязя. Это полностью соответствовало и "Ладиславу" Кузmani, и замыслу автора ознакомить читателя, хотя бы коротко, с тремя великими поэтами славянского мира: Мицкевичем, Державиным и Пушкиным. Из последнего он перевел и опубликовал вступление к поэме "Медный всадник" под названием "Петроград" [9. S. 116–119; 8. S. 87].

Пушкинское поэтическое творчество стало предметом переводческих интересов учеников и друзей Л. Штура, особенно после решения писать и слагать стихи на новом словацком литературном языке, который раскрепостил поэтический талант Я. Крала, С. Возара, А. Сладковича и др. В этой связи необходимо обратить внимание на примечательное утверждение П. Вонгрея, что Я. Краль свой словацкий перевод пуш-

кинской "Песни о вешем Олеге", вышедший под названием "Смерть Олега" (т.е. таким же, как у Кузмани, откуда он, вероятно, узнал о ней) в "Орле Татранском" лишь 7 апреля 1846 г., декламировал на собрании штуровского Славянского института еще 29 марта 1843 г. Следовательно, наряду со стихотворениями С. Возара и Я. Калинчака это был один из первых переводов Пушкина на новый общенациональный литературный язык [10; 11].

Что касается самого Л. Штура, то А.С. Пушкин и его творчество постепенно становились ему все более близкими. Уже в письме А.В. Врховскому в Пешт от 18 октября 1837 г. он пишет: "Я так страстно, так настоятельно просил у Курелаца некоторые стихи Пушкина, но он, однако, мне их не присылает. Болеславин! Прошу тебя, напхни ему об этом, пошлите мне хоть что-нибудь" [2. S. 123]. А через два дня он снова пишет Врховскому: "Курелаца еще раз прошу прислать хотя бы два-три пушкинских стихотворения" [2. S. 124]. Позже в письме от 16 июля 1841 г. к чешской писательнице Б. Райской, дружески расположенной к молодым словакам, он пишет, что в трудной жизненной ситуации повторяет слова Пушкина:

"Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись,
В день уныния смиришь:
День веселья, верь, настанет...
Сердце будущим живет".

Когда в конце апреля 1845 г. Л. Штура навистил русский публицист-славянофил Н.А. Ригельман, он был приятно удивлен тем, что Штур "...бегло читает и довольно правильно пишет по-русски", а также множеством русских книг, которые он у него нашел, и его восхищением "красотами пушкинской поэзии" [12]. Еще подробнее о своих беседах с Л. Штуром пишет в своем дневнике другой русский путешественник Ф.В. Чижов, известный представитель русских славянофильских кругов, друг братьев Аксаковых и Киреевских, А.С. Хомякова и др. "Не знаю, — записал Чижов, — с чего начался наш разговор, не знаю, как он сделался живым, но знаю только то, что два часа пролетели у нас так, что мы их не заметили, а в эти два часа мы успели помянуться нашими задушевными верованиями о быте славянском, нашими заветными понятиями о нашей взаимной будущности и о нашем значении в мире и человечестве. Странно, что, идя совершенно иными путями в ходе мышления, воспитываясь под совершенно различными и обстоятельствами и влияниями, мы беспрестанно сходимся с ним в одних заключениях. Один высказывался так, другой — иначе, но последний вывод был один и тот же" [13. С. 258]. Если в Дневнике Чижова мы вернемся на несколько страниц назад, то увидим, как он говорит о темпераментной аргументации Я. Кадави, с которым встретился незадолго перед тем в Пеште. Последний утверждал, что Россия должна объединить всех славян под своим скипетром и дать им единство жизни и ее форм и кроме того — русский язык в качестве общего языка. Чижов считает, что говорить об этом пока еще преждевременно, ибо возможность этого покажет только будущее, а пока необходимо посвящать все силы "славянской деятельности" славянских народов. Из сказанного можно сделать вывод о сходстве их взглядов и домыслить итог беседы. Очень интересны также записи Чижова, касающиеся их разговоров о характере будущего славянского искусства. Штур: "...мне кажется, что наше искусство найдет полноту своего образа в слове". Чижов: "Вы предупредили меня. Эта мысль наполняла меня несколько лет тому назад, но я потому на ней не остановился, что не изучал хорошо форму слова как искусственного создания". Штур: "Я много изучал поэзию всех народов и следил за ее ходом, а последний вывод моих изучений тот, что наша [поэзия] соединит в себе все совершенства, добавя их тем, что составляет истинное совершенство слова, — спокойствием и гармонией всего состава души человеческой". Чижов: "Именно я так представлял себе это, но неясно и неотчетливо. Входя в изучение всех образов

искусства, я нашел, что слово всегда было выражением того или другого, и нигде оно не было самостоятельно. У греков оно было исключительно пластическим, у итальянцев – выражением чувства, у немцев – романтизмом. Но все это не его собственное достоинство, т.е. во всем этом еще не высказалось полное достоинство человеческое, соединяющее в себе и пластику, и романтизм, и глубину чувств, и все, приводящее в полную стройность". Штур: «Да, нельзя с этой стороны не восхищаться Пушкиным как началом великой славянской поэзии. У Мицкевича преизобилие романтизма, у Пушкина тоже, но в его "Полтаве" является уже эта последняя высота» [13. С. 259; 14].

Все то, что записал Чижов, было для меня ново, интересно, даже ошеломляюще. Штур, как мы знаем, свои взгляды и оценки высказывал своим словацким и хорватским слушателям на лекциях по славянской поэзии (которые после отстранения от преподавания читал с марта до июня 1845 г. на своей частной квартире), и причем гораздо подробнее и аргументированнее. А.С. Пушкин там упоминался многократно [15].

Л. Штур включил А.С. Пушкина в число самых знаменитых русских и вообще славянских поэтов. Именно так он характеризует его уже в своей статье в защиту нации "Заслуги славян в европейской цивилизации" [16] 1840 г. и в таком духе говорит о нем в своем сочинении "Славянство и мир будущего", написанном летом 1851 г. (обоснование точной датировки см. в [17]), добавляя, что он принадлежит к тем поэтам и ученым, которые составляют гордость каждого народа [18. S. 158]. В этом сочинении Штур ссылается на Пушкина, когда говорит о щекотливом вопросе русско-польских отношений. Он пишет: «Прекрасно и правдиво сказал блистательный Пушкин о русско-польской борьбе в стихотворении "Клеветникам России":

Это спор славян между собою,
Домашний, старый спор уж взвешенный судьбою...
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою,
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос?» [18. S. 155]¹

Размышляя о предполагаемом влиянии поэтического творчества А.С. Пушкина на Л. Штура, которое проявилось не так заметно в поэзии (как, например, у А. Сладковича), а скорее в области общественно-политических взглядов, стоит обратить внимание на то место в заключении "Славянства и мира будущего", где говорится о "роковом Наполеоне": "Как Цезарь своим мечом проложил путь всемирной истории в Галлию, так Наполеон пробил ей дорогу в славянскую землю и силою увлек ее в сферу всемирно-исторической жизни. Как бы в благодарность за то, этот необычайный человек, французами, с одной стороны, проклинаемый, с другой – боготворимый, ненавидимый немцами, которым пришлось много от него вытерпеть, победенный славянами в неравной борьбе, был лучше всего оценен и понят именно ими. Замечательные умы славян, Пушкин и Мицкевич, высказали о нем свое правдивое слово" [21].

Здесь, по моему мнению, предлагается не только ключ к пониманию существа

¹ В последнем стихе вместо "оно ль иссякнет" ошибочно стоит "орел". Так напечатано в немецком издании Й. Ирасека [19], с которого сделан словацкий перевод, но тут явно речь идет о типографской ошибке. В рукописи (швабахом написанной копии немецкого автографа Л. Штура, с которого напечатаны все прежние издания, и в автографе) это слово написано правильно. Верно напечатано, разумеется, и в обоих русских переводах 1867 и 1909 гг. [20; 21].

культы Наполеона Бонапарта у Л. Штура, который был столь же противоречив, как и у Пушкина, но и нечто большее. Вероятно, речь идет о прямой связи с чувствами и впечатлениями Штура, которые могло оставить у него известное стихотворение Пушкина "Наполеон" (1821), популярное среди штуровцев (в русском оригинале его, например, декламировал на заседании Института 11 ноября 1843 г. Петер Келлер-Гостинский [10]), особенно его последние строки:

"Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал" [22].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Matula V. Štúr a Slovanstvo // L'udovít Štúr. Život a dielo. 1815–1856. Bratislava, 1956. S. 367–371.
2. Listy L'udovíta Štúra. Bratislava, 1954. D. 1.
3. Matula V. Príspevky L'udovíta Štúra v slovanských a nemeckých periodikách. Otázky zurnalistiky. Bratislava, 1995. XXXVIII. S. 113–127.
4. City vďečnosti mladých synů Slovenska. Na vydanie pripravil, poznámky a štúdia napísal Vladimír Matula. Bratislava, 1959.
5. Archív literatúry a umenia Matic slovenskej. M 113 A 8.
6. Štúr L'. Básne. Bratislava, 1954. S. 57.
7. Сиротинин А.Н. Россия и славяне. СПб., 1913. С. 9.
8. Pišút M. Počiatky básnickej školy L'udovíta Štúrovej. Bratislava, 1938.
9. Hronka. Bratislava, 1838. III.
10. Pamětnice Ústavu Slovenského w Břetislawě. 1842. Faksimile. Matica slovenská 1988 (без указания страниц).
11. Vongrej V. Ústav slovenský v Bratislave 1841–1843 // Literárny archív. Matica slovenská. 1994. 27/90. S. 32.
12. Matula V. Štúrovci a Rusko (Z dejín slovensko-ruských vzťahov v 30.–40. rokoch 19. storočia.) // Historické štúdie. Bratislava, 1978. XXIII. S. 75–76.
13. Козьменко И.В. Дневник Ф.В. Чижова "Путешествие по славянским землям" как источник // Славянский архив. М., 1958.
14. Matula V. Z denníka F.V. Čizova // Kulturný život. Bratislava, 1956. № 44. S. 7.
15. Štúr L'. O poézii slovenskej. Zostavil a edične pripravil P. Vondrej // Matica slovenská. 1987. S. 31, 46, 77.
16. Štúr L'. Slovania, bratia! Edične pripravil a poznámky i vysvetlivky napísal Jozef Ambruš. Bratislava, 1956. S. 174.
17. Matula V. Štúrov spis Slovanstvo a svet budúcnosti. Nové výsledky bádania o jeho vzniku, osudoch a hodnotení // L'udovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Matica slovenská. 1997. S. 37–138.
18. Štúr L'. Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava, 1993.
19. Štúr L'. Das Slawenthum und diw Welt der Zukunft. Vyd. J. Jirásek. Bratislava, 1931. S. 201.
20. Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями В.И. Лиманского // Чтения в Обществе Истории и Древностей Российских. М., 1867. Т. III. Кн. 1–3. С. 1–191.
21. Славянство и мир будущего. Послание с берегов Дуная Людовита Штура. Второе издание. Под ред. К.Я. Грота и Т.Д. Флоринского. СПб., 1909. С. 172.
22. Пушкин А.С. Сочинения. М., 1949. С. 90.

© Перевод М.Ю. Досталь



© 1999 г. А.С. СТЫКАЛИН

РУССКИЙ СЛАВЯНОФИЛ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА О ЗАРУБЕЖНЫХ СЛАВЯНАХ (ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ В.А. ПАНОВА)

Библиография публикаций из истории контактов России с зарубежными славянами в первой половине XIX в. пополнилась книгой, представляющей несомненный интерес как для исследователей, так и для более широкого круга интересующихся наследием отечественной культуры [1]. Ее жанр – путевые записки – довольно типичен для русской литературы своего времени и вместе с тем таит в себе возможность читательских открытий. Традиция, восходящая в России к "Письмам русского путешественника" Н.М. Карамзина (1791–1795), получила развитие в последующие десятилетия, вызвав к жизни немало ценных свидетельств эпохи, разнообразных по форме, предмету описания, идейной тенденции, художественным достоинствам. Сохраняя свое значение как один из источников информации о политической ситуации, экономике, культуре стран, через которые проходил маршрут путешествий, путевые очерки вместе с тем столь же много говорят нам о самом путешественнике, его интересах, мировоззрении, системе ценностей, воспитании и т.д. Таким образом, произведения этого жанра позволят реконструировать более или менее характерные для своего времени и социальной среды представления о прошлом и настоящем зарубежной Европы, об отношениях России и Европы, критериях российской самобытности, путях развития страны. Поскольку автор рецензируемых записок В.А. Панов принадлежал к кругу ранних московских славянофилов, специфический интерес к "пока жалкому, но много обещающему для будущности" положению австрийских и турецких славян, взгляд на зарубежье сквозь призму славянской идеи не только предопределили маршрут его поездки, но и поставили записки Панова в один ряд с литературным и научным наследием видных русских славистов П.И. Кеппена, О.М. Бодянского, И.И. Срезневского, А.Ф. Гильфердинга, также посещавших славянские страны и писавших об увиденном.

Повышение интереса русской публики к зарубежным славянам имело глубокие внутренние причины, в первую очередь связанные с духовными процессами в российском обществе, становлением национального самосознания в эпоху после наполеоновских войн. Предпринятая П.Я. Чаадаевым попытка философски осмыслить историческое призвание России, ее место среди других стран положила начало спору западников и славянофилов, не прекращавшемуся на протяжении десятилетий. Вести этот спор невозможно было без конкретно-исторических аргументов, а потому столь закономерным стало обращение к истории и современному положению других, и не в

Стыкалин Александр Сергеевич – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

последнюю очередь славянских народов. Через осмысление сходства с родственными народами и отличий от них проходил путь к самопознанию. "Это пробуждение национальности между нашими братьями славянами, – замечал в своих записках В. Панов, – имеет для нас необыкновенную важность. Мы лучше поймем свое значение, понявши значение славянского племени, к которому мы принадлежим... (и которому) до сих пор не было дано место во всемирной истории" [1. С. 41].

Внимание к славянству стимулировалось также повышением веса России в европейских делах после Венского конгресса, осознанием правящими кругами ее державных интересов. Кроме того, опыт родственных культур, решавших в 20–30-е годы XIX в. зачастую близкие задачи, был весьма поучителен для отечественных литераторов и художников, стремившихся к обновлению литературного языка, ведших поиски национальных начал в искусстве. При этом интерес к славянству не был, конечно же, сугубо утилитарным. Достаточно вспомнить, насколько органично вплелись южнославянские мотивы в систему образов А.С. Пушкина.

Таким образом, знакомство с зарубежным славянством было отнюдь не модой, но глубокой духовной потребностью как декабристского, так и первых постдекабристских поколений русской дворянской интеллигенции. Несомненная наблюдательность Панова, его открытость новым впечатлениям, широта круга интересов, знание истории, владение совершенным литературным стилем делают его путевые заметки столь содержательным и в то же время глубоко эмоциональным документом своего времени.

Приехав в Прагу в 1842 г., В.А. Панов застал процесс национального возрождения чехов в момент его заметного ускорения. В свое время реформация в Германии пробудила "католический мир к сильному противодействию, пробудила его от того усыпления, в которое он было погрузился, снова вдохнула в него характер завоевательный" [1. С. 39]. Именно Богемия с ее гуситскими традициями обратила против себя тогда основной удар католической реакции. Ставшие еще в XVI в. главными поборниками католицизма Габсбурги старались пресечь на корню "богемский раскол", уничтожали памятники культуры, "свидетельствовавшие народу о его прежней независимости, о его религиозных и политических правах". Чешская знать, "не имея силы противиться императору, королю своему, чтобы не лишиться своих владений", должна была онемечиваться. После разгрома под Белой горой в 1620 г. чехов "казалось, уже более не существовало. По-чешски говорил только один простой народ в деревнях". В Праге большинство составляли немцы, "и между природными богемцами... чешский язык сделался кухонным, на котором говорили только со своими слугами"; всякий, кто только хотел казаться немного образованным, стыдился изъясняться на родном языке. Когда выдающийся филолог И. Добровский начал в конце XVIII в. заниматься богемским языком, он думал, что занимается языком мертвым, подобным латыни или древнегреческому, и только в конце жизни почувствовал, что "в этом мнимомертвом теле еще бьется пульс. И вскоре он забился уже заметно!" [1. С. 39–40]. По мнению Панова, произошло это оттого, что среди угнетенных славян "явились люди, которые поняли, что их народы ничтожны, потому что дух их поработен чуждой национальностью, что стоит только дать свободное развитие их родному языку, родному характеру, чтобы тоже получить значение в мире. Центром новой, этим чувством порожденной деятельности, сделалась, разумеется, Богемия, а в ней – Прага" [1. С. 40–41].

Процесс национального возрождения чехов в первые десятилетия XIX в. охватывал лишь весьма ограниченные круги богемского и моравского образованного общества. "Тогдашние патриоты жили в каком-то замкнутом мирке, из которого были исключены все другие слои чешского общества... Достаточно было произнести одно лишь слово касательно патриотических дел, как ранее незнакомые люди тотчас признавали друг в друге собратьев и чувствовали такое взаимное доверие... В эти годы в Чехии и Моравии патриоты воистину составляли свою особую ложу...", – вспоминал впоследствии о патриотическом сообществе 1830-х годов мемуарист Я. Малы [2.

С. 157–158]. Заметный перелом в процессе национального пробуждения, связанный с возникновением более массовых форм патриотического движения, пришелся, как подтверждается и записками В. Панова, именно на рубеж 30–40-х годов XIX в. Еще три года назад, говорили Панову чешские патриоты в 1842 г., нельзя представить себе было столь многочисленного собрания единомышленников, "сама мысль показалась бы непозволительною, страшною". Сегодня же, свидетельствует русский путешественник, "самые образованные люди в Праге между собою иначе не говорят, как почешки; они выражают на своем языке все высшие понятия, не допуская в него ни одного слова иностранного. В этом отношении они уже нас опередили" [1. С. 41]. Пробудившееся в чехах чувство собственного достоинства вызвало активность в самых разных сферах культурной деятельности. Панов "имел случай узнать людей чрезвычайно интересных и талантливых, которые с равным самоотвержением и успехом стараются пробудить и поддержать национальное чувство в своих соотечественниках, доказывают своим примером, какое великое значение должна иметь эта национальность, благоразумно и храбро отстаивают ее против ее сильных противников" [1. С. 38]. Причем "самые замечательнейшие и ревностнейшие из этих патриотов-писателей, как Шафарик, Палацкий, Юнгман и пр. всегда действуют с необыкновенным благоразумием, осторожностью, иногда хитростью, что много ручается за успех их дела. Их деятельность не есть уже вспышка молодых голов; она равно сопровождается юношеским пламенем, мужескою твердостью, как и зрелостью мысли и долгим опытом. Что меня в них с первого раза удивляло, но потом радовало, это совершенное отсутствие самонадеянности, даже некоторая недоверчивость к своему делу, нисколько однакож их к нему не охлаждающая" [1. С. 42]. В поле притяжения обновительных движений попало и немецкое население Богемии. От наблюдательного взгляда Панова не укрылось возникновение такого характерного феномена, как земельный патриотизм богемской немецкой аристократии, фрондировавшей Вене.

Путевые записки Панова зафиксировали тот момент в истории чешского национального движения, когда оно носило сугубо культурный характер, не выдвигая политических требований. Чешская "национальность в политическом мире едва ли имеет хотя (бы) низкое значение", и хорошо понимая это, здешние ученые и литераторы не интересуются политикой. "Но тем лучше, тем сильнее делается их национальность, когда она уходит в мир фантазии. Боже мой, как эта национальность хороша в песнях!" [1. С. 34].

Давно известно, что осознание себя частью славянского мира начиная с эпохи Просвещения было тесно связано с формированием национальных идеологий, служило процессу самопознания разных народов. Оно придавало сербам и болгарам силы в борьбе с турецким игом, выполняло защитную функцию в условиях, когда чехам, словакам, хорватам, словенцам угрожали германизация или мадьяризация. Стимулируя историческую память, облегчая преодоление разобщенности славянских народов в условиях чужеземного гнета, романтические идеи славянской взаимности вместе с тем иной раз уводили в сторону от понимания конкретных нужд национального развития. Посетив Пешт, Панов, конечно, не упустил случая познакомиться с Я. Колларом. Интересно, что крайний утопизм воззрений идеолога всеславянства вызвал в русском славянофиле чувство полемики. Коллар с пафосом говорил Панову о вечных раздорах славян, "об их раздроблении, которое было причиною, что это племя, самое огромное по числу, менее всех имело значение в человечестве... Его слова раздавались громом, его маленькая фигура... принимала грозно величественный вид, – он был одушевлен негодованием" [1. С. 107]. Ратуя за единое всеславянское племя, Коллар, считал Панов, "не умеет отдавать каждому племени славянскому его достоинство". Потому и не способны его идеи возбудить в настоящем патриоте глубокой взаимности, потому столь странными кажутся его литературные оценки. В самом деле, Пушкин пришелся Коллару не по душе только потому, "что он в нем ничего не нашел, что бы касалось других славян, вне русских! И он предпочитает

Пушкину Хомякова, потому что он написал бедные стишки, взывающие к общему союзу" [1. С. 108]. Отповедь Панова Коллару была не менее эмоциональна. "Мы имеем свою самобытность, свою литературу; и когда от нас станут требовать, чтобы мы отрелись от своей особенной национальности, чтобы принять общую с другими, малыми, племенами, которые 50 лет тому назад сами себя почитали мертвыми; когда станут от нас это требовать, не показавши нам прежде, что имеют в себе эти прочие славяне, какая их была прежде судьба, и какую силу они могут развить в будущем, — тогда, разумеется, это требование скорее возбудит в нас отвращение, нежели соучастие и взаимность... Прежде всего отдайте каждому свое — и тогда каждый будет готов со своею особенностью действовать в общем кругу, к которому он будет тогда стремиться и будет почитать за славу, за необходимость себя к нему причислять" [1. С. 107–108]. Для Я. Коллара, представителя народа, боровшегося за выживание, идея славянской общности могла на раннем этапе национального движения подчинить себе словацкую идентичность. Однако для российского славянофила, хотя и называвшего "раздор и недостаток единства" "ужасным славянским пороком", но все же не стоявшего перед проблемой ассимиляции своего народа, общеславянское самосознание заведомо оставалось чем-то периферийным. И гораздо более Коллара Панову импонировал своими взглядами приверженный более реалистической национальной программе Л. Штур, — "молодой человек, чрезвычайно ученый, и лучшего направления я не находил ни в ком из славян" [1. С. 114].

Немало строк в записках Панова посвящено критике германизаторской политики Габсбургов, на протяжении веков стремившихся "слить свои разнородные владения, подчиняя их как можно более Австрии, как общему центру", заботившихся "не столько о выгодах Богемии, сколько о выгодах своего дома". При этом 23-летний автор демонстрирует завидное знание истории и современного ему состояния межнациональных отношений в дунайской державе. В Праге В. Панов стал свидетелем проводов Ф. Челаковского в Бреславль (Вроцлав), где ему была предложена университетская кафедра. "Надо было пить за здоровье Богемского Короля, Императора Австрийского. Между тем всем известно, что он от всей души желал бы, чтобы никто из присутствовавших тут никогда не существовал. Самый повод, по которому дан был обед, лучше всего доказывал недоброжелательство его. Если б Челаковский получал бы хотя пятую часть того, что прусский король назначил ему теперь в жалованье, он никогда не оставил бы Праги" [1. С. 43]. "Сам Шафарик только недавно получил место, которое сколько-нибудь обеспечило его состояние. Правительство не только не награждает этих ученых, но даже с неудовольствием смотрит на их труды. Австрийцы думали, что, вследствие всех их усилий, богемцы, наконец, вполне и, все без исключения, онемечились: с досадою смотрят (они) теперь, как между сими последними народность пробуждается и с каждым днем более усиливается" [1. С. 34]. Вместе с тем убежденный славянофил Панов отнюдь не склонен был демонизировать германское культурное влияние, он признавал, что поначалу оно "много способствовало к приведению Богемии в цветущее состояние во всех отношениях. Короли богемские, которые были императорами, могли употреблять силу и влияние, которое они имели в империи, на обогащение Богемии и в особенности ее столицы Праги" (С. 38). Но история полна противоречий, и "те же самые причины, которые содействовали увеличению могущества и славы Богемии, ее политическая и религиозная связь с германским миром, породили для нее (не)возможность [так в книге. — А.С.] долго сохранять свою самобытность. Общие религиозные интересы дали повод иностранцам вмешиваться в ее дела. При религиозных распрях была всегда в самой Богемии одна партия, которая держалась иностранцев" [1. С. 39].

Пражские впечатления Панова наводили его на размышления о различиях в путях развития русских и чехов. Если "мы в своем развитии удалялись от прочей Европы, они более и более с нею соединялись" [1. С. 38]. Путешествуя в начале 1840-х годов по славянским землям, Панов убеждался, однако, и в том, что родство с великой российской державой осознается малыми народами, видится ими одной из главных

опор в борьбе против ассимиляции. "Слава России, вторгнувшись в Европу, обратила к самосознанию наших братьев единоплеменников... (Их) пробуждению, если не более всего, то, по крайней мере, много, содействовало значение, которое Россия в последние времена получила в мире. Иностранцы должны были признать это значение... кто мог с нею посчитаться родством, тот не замедлил этого сделать" [1. С. 40, 41]. В приеме, который был сделан ему в Праге, "единственно как русскому", Панов "имел сильное доказательство их [чехов: – А.С.] расположения к России... Я бывал там у всех славянских литераторов и ученых; все мне говорили откровенно о своих трудах, о своем положении. Меня вводили во все ученые заседания... Даже в народе распространяется теперь желание узнать Россию. Ко мне в Праге приходили иногда простые мещане, извиняя свой приход желанием увидеть русского и услышать что-нибудь о России, которую они совершенно не знают" [1. С. 37, 41]. "Выражение сердечного участия" и ласковый прием Панов встречал и в лужицких землях. В Берлине к нему в тайне от своих венгерских однокашников приходили студенты-словаки.

В Пеште на заседании Матицы сербской Панова посадили на почетное место, что он комментировал следующим образом: "Так везде рады нам наши одноверцы" [1. С. 111]. И в Герцеговине, отмечает Панов, "мое появление... произвело радость в православном народе, потому что я ношу имя русского. Он стал смелее глядеть на турчина, думая, что его не забывает и осведомляется о нем император Николай". Люди глубоко верят в то, что Россия не будет равнодушна к состоянию своих "братьев, православных христиан, терпящих самое ужасное тиранство" [1. С. 73]. Аналогичными были впечатления Панова от Далмаций: "Вы не поверите, какая здесь в православном народе любовь к русским. Хотя они не получают никакой помощи от России, но одно существование ее дает им крепость твердо держать свой закон" [1. С. 95]. В Черногории, "где русского принимают как брата по крови, языку и по вере", во время дружеского застолья у князя Петра Негоша каждая песня начиналась провозглашением здравия русского царя. "Надобно видеть православие вне России, надобно видеть Далмацию, Черногорию, Турскую землю и провинции Дунайские, чтобы увидеть во всем блеске значение и величие России", – заключает русский путешественник [1. С. 96]. При том, что "Россия часто жертвовала ими политике европейской, ... они никогда не изменяли России". "Довольно одного возгласа со стороны России – и все турецкие селения, граничащие с этим отдаленным углом [Черногорией. – А.С.], вспыхивают пламенем, и много голов турецких присоединяются к тем, которые нанизываются на шестах и торчат теперь на башне Цетинской" [1. С. 60]. Впрочем, В. Панов, довольно трезво оценивавший возможности России, не питал чрезмерных иллюзий относительно ее миссии в славянском мире: "видно не пришло еще время, когда москвитин в самом деле подумает о своих братьях и захочет освободить их" [1. С. 87].

В силу своей универсальности идея славянской взаимности всегда давала простор различным, подчас противоположным толкованиям, речь могла идти как о сугубо культурной общности без политических амбиций, так и о стремлении России решать судьбу Европы при помощи зарубежных славян. Как и большинство славянофилов 40-х годов XIX в., Панов делал акцент на сближение славянских культур: "Я знаю у нас некоторых ученых, которые бредят даже о каком-то политическом соединении всех славян, которое несбыточно и было бы для них губительно, действуют все как-то таинственно, а между тем не учат языков славянских, упускают многие самые простые и действенные средства для поощрения славянских литератур" [1. С. 43].

Если первые поколения идеологов довольно слабых еще тогда славянских движений действительно видели в 20–30-е годы XIX в. в России опору своим национальным чаяниям, то в дальнейшем пришло разочарование. Уже действия в Польше в 1831 г. не могли не сказаться отрицательно на престиже России, еще сильнее ударила по имиджу великой славянской империи роль царизма во время "весны народов" 1848 г. Не способствовали сохранению иллюзий и личные свидетельства, почерпнутые зарубежными славянами в результате поездок в Россию, в то время, впрочем,

единичных. "Одновременно с пробуждением национального духа... на родине у нас появилась идея славянства... Русских, поляков, иллиров и других славян каждый называл своими братьями, радел об их успехах... а самые практичные вынашивали в сердце своем полную убежденность, что со временем все 80 миллионов славян... будут иметь единый литературный язык... составят единый народ", – вспоминал виднейший чешский публицист К. Гавличек-Боровский. "В те блаженные годы, почерпнув из книг различные сведения о языках, деяниях и обычаях славянских племен, я твердо решил обойти все эти земли и познакомиться со своими славянскими братьями в их странах. Я узнал Польшу и она не понравилась мне... после Нового года в суровые морозы трясся в кибитке в Москву, согреваем одним лишь жаром сердечной всеславянской взаимности. Русские морозы и иные русские дела угасили во мне последние искры всеславянской любви; ...так я и вернулся в Прагу чехом, всего лишь упрямым чехом, да еще с каким-то скрытым предубеждением против имени славянин, от которого теперь на меня, довольно хорошо знакомого с Россией и Польшей, слегка повеяло иронией". И позднее, поостыв от негативных российских впечатлений, один из основоположников австрославизма остался при своем принципиальном мнении: "как смешно было бы признаваться в индоевропейском патриотизме и сочинять о нем восторженные стихи, точно также, хотя разумеется и в меньшей степени, ложен патриотизм всеславянский..." [2. С. 190–192].

Отсталость политической системы царской России особенно явно обнаружилась ее поражением в Крымской войне. Вскоре после этой неудачи Александр II, приняв черногорского князя, подарил ему шубу. Известно, что Ф.И. Тютчев посмеялся над этим, сказав, что "ничего другого Россия не может предложить балканским славянам" [3]. Ход истории постоянно свидетельствовал о том, что по мере своей политической эмансипации зарубежные славяне все более тянулись к Западу, к более прогрессивным формам жизни. И прав был, безусловно, А.Н. Пыпин, когда писал, что Россия может стать примером для других славянских народов "не иначе как после значительной внутренней работы... над самой собой", над "условиями своего быта".

Возникновение первых австрославистских доктрин пришлось еще на годы, предшествовавшие революции 1848 г. Хотя в 1842 г. австрославизм находился еще в зародыше, от внимания Панова уже тогда не укрылось, что многие представители чешского национального движения искали пути самоопределения своей нации в рамках империи Габсбургов, отнюдь не выступая за ее разрушение. По представлению Ф. Палацко и его единомышленников, австрославизм становился альтернативой как набравшему силу пангерманизму, так и российскому имперскому панславизму, также все более внушавшему опасения. Россия в таких концепциях уже не представляла опорой славянства, а славяне не рассматривались как проводник российских влияний. Опирались приходилось лишь на собственные силы и, как это ни парадоксально на первый взгляд, на Габсбургов, противостоявших прусскому пангерманизму и имевших серьезные противоречия с Россией.

Балканские впечатления Панова наводили его на размышления о последствиях турецкого господства для славян. Побывав в Белграде, он не увидел различий в одежде между сербами и турками. "Мне не нужно было ни спрашивать, ни видеть далее, в каком положении находится теперь Белград и Сербия, – это первое впечатление было для меня понятнее всех фактов и рассказов". Во внешнем облике города также, по свидетельству Панова, доминировали турецкие черты: "дурно мощенные улицы, маленькие нечистые дома, открытые лавки, в которых купцы с чалмами сидят на подмостках, как портные на своих столах" [1. С. 104–105].

Интересно описание Далмации, очага высокой ренессансной культуры, в котором время, однако, остановилось еще в XVII в. В Дубровнике собеседниками Панова стали отпрыски старинных аристократических фамилий. "Они потеряли все свои богатства, но имена сохранили те же, и мне было интересно слышать их вечером за какую-нибудь общественную игрою, между тем, как поутру я их читал в летописях 12-го и 13-го столетия" [1. С. 92]. Период временного пробуждения этого края от спячки

Панов связывал со временем наполеоновских войн. В Далмации, "где давно не было никаких искусств, где ничего не создавалось, но все падало в развалины, здесь явились тогда плоды новейшего просвещения, новейших изобретений". "Всюду, куда только ни проникла рука этого Гения, везде она оставила благодетельный отпечаток", – так московский славянофил (!) через пять лет после отмеченной с патриотической помпой бородинской годовщины 1837 г. оценивал деятельность Наполеона [1. С. 79]. Путевые записки В.А. Панова вносят новые, существенные штрихи в наши представления о культурном облике первого поколения отечественного славянофильства, и в этом, на наш взгляд, их главная ценность как исторического источника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Встреча с Европой. Письма В.А. Панова к матери М.А. Пановой из Центральной и Юго-Восточной Европы (1841–1843 гг.) / Сост. Т. Ивантышынова, М.Ю. Досталь. Bratislava, 1996. Русский текст – 140 С.; словацкий перевод – 140 С.
2. *Титова Л.Н.* Чешская культура первой половины XIX века. М., 1991.
3. *Джонг Хи-сок.* Идея славянского единства в мировоззрении Ф.И. Тютчева // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997. С. 62.



И. БАЕВ. Военнополитическите конфликти след втората световна война и България. София, 1995. 407 С.

И. БАЕВ. Военно-политические конфликты после второй мировой войны и Болгария.

На исходе XX в. продолжается извечный поиск идеального мирового порядка во имя стабильности, закрепления status quo, недопущения очередного срыва в пучину силового противостояния и войн. К сожалению, до сих пор сила остается инструментом достижения тех или иных политических целей. К. Клаузевиц почти два столетия тому назад предупреждал: "Политика есть лоно, вынашивающее войну; в политике уже заключается в скрытом виде основные очертания войны, подобно тому как облик живого кроется в зародыше" [1].

Не был исключением в этом отношении и период после второй мировой войны, в течение которого человечеству пришлось пережить более 300 локальных конфликтов и войн, а по Европейскому континенту проходила главная разделительная линия "холодной войны" между двумя противостоящими военно-политическими группировками.

Поэтому не случайно военная конфликтология занимает важное место в общей теории конфликтности и является приоритетным междисциплинарным направлением в современных общественных и политических науках.

На Западе уже с 50-х годов тема военно-политических конфликтов являла собой наиболее интенсивно разрабатываемое направление конфликтологии, которое ныне представлено многочисленными школами и методологиями, а библиографические справочники по данной тематике там включают десятки тысяч названий. Терминологические

различия и типологические несоответствия между различными национальными школами создают основные методологические противоречия в области военной конфликтологии. Военно-политические конфликты западными специалистами классифицировались по их характеру, целям, интенсивности, масштабам, последствиям и другим объективным показателям.

В Советском Союзе и восточноевропейских странах практически до конца 80-х годов ведущий критерий типологизации военно-политических конфликтов выводился из основного противоречия тогдашнего исторического периода – противостояния двух социально-экономических систем, а методологической основой их изучения являлось марксистско-ленинское учение о политике, войне и армии. В соответствии с ними главенствующее место на шкале причинности военно-политических конфликтов отводилось социально-политическим, классовым противоречиям в глобальном, региональном и локальном измерениях. Лишь на рубеже 90-х годов российские ученые и их коллеги в странах Восточной Европы включились в разработку общей теории конфликтности и стали рассматривать военно-политические конфликты как сложное и многогранное явление, применяя системный, генетический и сравнительно-исторический подходы.

Рецензируемая книга болгарского историка И. Баева, выпущенная издательством Министерства обороны Болгарии "Св. Георгий Победоносец", свидетельствует, что

и болгарская военно-историческая мысль не осталась в стороне от процесса изучения противоречий современного мира, их проявлений в конфликтах и кризисах на основе восприятия современных научных концепций.

Монография Баева безусловно привлечет внимание исследователей тем, что в ней практически впервые в контексте послевоенной истории глобальных и локальных конфликтов и кризисов проанализированы сущность и характерные черты политики Болгарии, показаны конкретно-исторические реальности, которые влияли на позицию болгарского руководства в отношении того или иного конфликта. Автор не ставил целью детальное и хроникально-документальное описание отдельных военно-политических конфликтов, а применил структурный подход, спускаясь с глобального на региональный уровень.

Этому методу соответствует структура книги, главы которой удачно сочетают рассмотрение общих проблем биполярного противостояния двух военно-политических блоков – Варшавского Договора и НАТО, и конкретный анализ региональных конфликтов и кризисов, включая страны Восточной Европы и Балканского региона.

Примененная Баевым типологическая схема отражает глубину проникновения автора в предмет исследования. Рассматриваемые им конфликты классифицируются по их масштабам и напряженности: глобальные, региональные, локальные; конфликты высокой, средней и низкой интенсивности; а также по их качественному содержанию: межнациональные, национально-освободительные, этнические, племенные, религиозные, территориальные, торгово-экономические, внутривнутриполитические и пр. (С. 6–7).

Для сравнения можно сказать, что сегодня российские военные историки и политологи придерживаются, в основном, трех критериев классификации войн и военно-политических конфликтов: социально-исторические, масштабные и военно-технические. Социально-историческая характеристика, например, позволяет определить мотивацию и сущность конфликта. В соответствии с этой классификацией различаются территориальные, межэтнические, межобщинные, межплеменные, межконфессиональные, экономические конфликты, гражданские войны, войны национальных интересов (защита своих политико-экономических интересов державами-гегемонами), сепаратистские войны, войны (операции) по поддержанию мира [2].

Несомненное достоинство работы Баева состоит в привлечении широкого круга болгарских и зарубежных архивных источников, а также в свободном владении результатами научных исследований в области конфликтологии, достигнутыми крупнейшими научными центрами в США, Западной Европе и России.

В главе "Биполярное противостояние" автор на конкретных исторических примерах показывает влияние обострения конфронтации между двумя военно-политическими блоками на возникновение очагов напряженности в различных районах мира, которые были чреватые перерастанием "холодной войны" в новую мировую войну. К таким конфликтам он относит Корейскую войну (1950–1953), Карибский кризис (1962) и Берлинский вопрос (1948–1971). Хотя Болгария непосредственно не была задействована в этих конфликтах, тем не менее представляет интерес раскрытие механизма вовлечения в них малых стран на основе выполнения ими "союзнического долга", который с болгарской стороны во время войны в Корее выражался в безапелляционной поддержке северокорейской стороны, выступлениях болгарской общественности против "американской интервенции", а также в оказании материальной помощи КНДР.

Как справедливо отмечено в работе Баева, прямую угрозу жизненным интересам малых стран, в том числе и Болгарии, представляла конфронтация между двумя военно-политическими группировками по поводу "германской проблемы", которая много раз перерастала в кризисы, создавая угрозу применения ядерного оружия в центре Европы.

Вместе с тем следует отметить, что в данной главе автор допускает методологические неточности, так как только войну в Корее, в ходе которой велись активные боевые действия, строго говоря, можно отнести к военно-политическим конфликтам, а в двух других случаях речь может идти о военно-политических кризисах, когда кризисная ситуация создавалась угрозой применения военной силы.

Особый интерес представляют главы, посвященные проблемам Балкан в период "холодной войны". Определяя Балканский полуостров как один из наиболее напряженных кризисных районов мира, Баев подчеркивает, что здесь переплелись исторические, долговременные геополитические, экономические, религиозные, этнонациональные интересы как великих держав, так и народов, здесь живущих.

Автор выделяет три типа конфликтов, характерных для данного региона в послевоенный период: внутривнутриполитические (гражданские войны), идеологические (политическая конфронтация между идейными противниками), этнические (в форме территориальных споров).

Анализируя конфликтные моменты в послевоенных отношениях Болгарии с соседними странами – Грецией, Югославией, Турцией, Баев подчеркивает специфику и сложность вопросов, исторически лежащих в основе взаимных территориальных и межэтнических споров этих государств. Это – македонский вопрос, проблемы Западной Фракии, положение турецкой национальной общины в Болгарии. Читатель может познакомиться с оригинальными материалами по этническому конфликту на Кипре в контексте болгаро-турецких отношений. Исследуется влияние международных организаций – ООН и НАТО – на разрешение кипрской драмы.

Не подлежит сомнению сделанный в книге вывод о невозможности предложить неотказную и мгновенно действующую модель разрешения сложных противоречий на Балканах.

В работе на конкретно-историческом материале прослеживаются общие черты и особенности общественно-политических кризисов в государствах Восточной Европы, входивших в "советский блок". Определяя закономерности вызревания кризисных моментов в восточноевропейских странах, Баев делает вывод о неспособности общественных структур социализма к разрешению кризиса мирными средствами. Категоричность такого утверждения, на наш взгляд, вряд ли правомерна в теоретическом смысле. Тем не менее этот вывод справедлив, когда речь идет о Венгерских событиях 1956 г. и Пражской весны 1968 г., в ходе которых для разрешения конфликта, вернее для его погашения, была привлечена внешняя военная сила: в первом случае – советские войска, во втором – воинские контингенты пяти стран ОВД. Чтобы каким-то образом создать "правовые рамки" для силового воздействия на ситуации в восточноевропейских странах, в Москве была выдвинута теория о так называемом ограниченном суверенитете. Определенный интерес для читателей представляют материалы книги о позиции болгарского руководства в период этих событий. Например, в октябре 1956 г. болгарские представители не только поддержали решение КПСС о направлении в Венгрию советской "военной помощи", но и предложили направить туда

болгарские войска, чтобы совместно с советскими частями "потушить контрреволюционное восстание" (С. 187).

Автор не оставил без внимания и конфликты в третьем мире, указывая на их прямую зависимость от противостояния между двумя военно-политическими блоками. Рассматривая войну во Вьетнаме, арабо-израильские, афганскую войны в контексте отношения к ним Болгарии, он подчеркивает, что позиция болгарской стороны всегда обуславливалась двумя факторами: следованием общей линии в рамках Варшавского Договора, формулируемой Москвой, и "противостоянием империализму" (С. 297). По оценке Баева, в ряде случаев болгарское руководство, оказывая помощь "прогрессивным", "антиимпериалистическим режимам", проявляло политическую и идеологическую солидарность с ними, что приводило к пренебрежению долгосрочными национальными интересами страны.

Заслуга автора состоит в том, что в книге собраны многие, ранее не известные данные о конкретных направлениях и характере болгарской помощи ряду национально-освободительных движений в Азии, Африке и Латинской Америке. Например, с 60-х годов болгарская сторона стала поддерживать официальные контакты по военной линии с вновь созданными африканскими государствами – Мали, Ганой, Танзанией, Нигерией, Гвинеей, Сомали. Болгария оказывала поддержку национально-освободительным движениям в Алжире, Конго, Кении, Анголе (МПЛА), Эфиопии путем осуществления подготовки военных кадров для национальных армий в болгарских военно-учебных заведениях, поставок оружия и военной техники, направления различных специалистов в данные страны. Эти факты, по мнению автора, свидетельствуют о военно-политическом присутствии Болгарии в широком географическом регионе, который являлся зоной конфронтации и соперничества между двумя суперсилами – СССР и США в период двуполусной модели мира (С. 237, 270).

В заключение автор обращается, хотя и в "телеграфном стиле", к военно-политическим реалиям современного мира. Следует отметить, что Баев далек от эйфорического тона в оценках и прогнозах относительно мировых процессов, которые по-прежнему черваты кризисными ситуациями, возникающими вследствие нарушения баланса сил и интересов. Для подтверждения этого тезиса показательна приведенная в книге статистика: в период с

1989 по 1993 г. произошло около 90 вооруженных конфликтов, в которых была вовлечена тем или иным образом одна треть государств – членов ООН. В Европе после 1993 г. 80% конфликтов приходится на территории бывшего Советского Союза и бывшей Югославии; после 1994 г. в военно-политических конфликтах было занято около 30 млн человек из 35 государств (С. 347). Таким образом, военная сила после окончания "холодной войны" и биполярного противостояния не стала менее популярным средством разрешения конфликтных ситуаций. Более того, в терминологии международных организаций все чаще присутствует силовой фактор как средство "принуждения к миру".

Бесспорно, автор прав, выделяя особую значимость военно-политической обстановки на Балканах и прежде всего в бывшей Югославии для определения приоритетов внешней политики Болгарии. Как подчеркивается в книге, во время югославского конфликта болгарская сторона придерживалась принципа "активного нейтралитета", означавшего принципиальный отказ от участия в вооруженных действиях на территории бывшей Югославии ни прямо, ни косвенно, в том числе под эгидой ООН. Такая позиция, по мнению Баева, была наиболее "сбалансированной и объективной" (С. 347).

Автор указывает, что в современных условиях для обеспечения национальной безопасности Болгарии ее государственные власти считают необходимым создание системы двусторонних военно-политических союзов и перспективное участие страны в различных военных и политических организациях, таких как НАТО, ЕС и др. Такое участие позволит Болгарии играть активную роль в осуществлении превентивной дипломатии и управления кризисными ситуациями в рамках основных международных структур. Конечно, подобный вывод не бесспорен, а его реализация зависит от множества международных факторов, и прежде всего – от ликвидации наследия "холодной войны", изменения характера военно-политической деятельности НАТО, перестройки всех ее отношений со своими бывшими противниками. Существенные шаги в этом направлении были сделаны 27 мая 1997 г., когда Россия и лидеры 16 государств – членов этого альянса, подписали "Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора". В соответствии с

ним, Россия и НАТО будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности [3].

К этому следует добавить и то, что внешняя политика любой малой страны предопределяется внутренними составляющими, вырастающими из ее собственных экономических и политических интересов, а также необходимостью преодоления напряжения и давления со стороны более сильных держав.

В целом, монография Й. Баева, несмотря на неравномерное раскрытие ряда проблем, особенно связанных с современными вопросами применения международного сообществом силового механизма урегулирования военно-политических конфликтов, является заметным вкладом в военно-историческую конфликтологию. Ограниченный по сей день доступ к объективной информации, трудное преодоление ранее существовавших догм делают еще более полезными и интересными размышления и выводы автора по столь острой и актуальной для современной науки проблеме. Рецензируемая книга несомненно послужит стимулом для последующих исследований в области конфликтологии как в Болгарии, так и за ее пределами.

© 1999 г. *Н.В. Васильева*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Клаузевич Ц.* О войне. М., 1934. С. 91.
2. Межнациональные конфликты в посттоталитарном обществе. М., 1992; *Насиновский В.* Вооруженные конфликты. Поиск решения. М., 1996; *Барынькин В.* Локальные войны на современной этапе // *Военная мысль.* 1994. № 6. С. 7–11; *Барынькин В.* Опора безопасности: о некоторых вопросах организации военных действий по разрешению военных конфликтов // *Армейский сборник.* 1995. № 8. С. 11–13; *Клименко А.* К вопросу о теории военных конфликтов // *Военная мысль.* 1992. № 10. С. 24–35.
3. Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора // *Российская газета.* 1997. 28 V. Л. 3.

С.И. НИКОЛАЕВ. Литературная культура Петровской эпохи.
СПб., 1996. 152 С.

Монография С.И. Николаева посвящена наименее "литературному" периоду в истории русской словесности. Эта характеристика, ставшая уже расхожей, не опровергается фактами из литературной и культурной жизни Петровского времени, собранными в исследовании С.И. Николаева. Однако своими наблюдениями и размышлениями автор подводит читателя к мысли, что определение "нелитературный" носит слишком общий, а потому односторонний характер. Ведь сам термин "литература" должен использоваться исторически, с учетом того, что каждая эпоха относилась к словесному творчеству по-своему.

Автор весьма удачно озаглавил свою книгу – "Литературная культура Петровской эпохи", подчеркнув тем самым, что предмет исследования является литературная жизнь во всех ее аспектах – от неосиллабики до дарственных надписей на книгах. Внимание ко всем проявлениям литературности раздвигает рамки литературоведческого исследования и позволяет в ряде случаев пересмотреть ошибочные стереотипы историко-филологической науки. К числу таких стереотипов, отмененных в данной книге, относятся, например, политическая интерпретация выражения "ученая дружина" (С. 111), легенда о писательской деятельности детей Алексея Михайловича (С. 113–118), понимание пословиц в литературных текстах Петровской эпохи как фольклористических фактов (С. 127), атрибуция А.Д. Кантемиру так называемой IX сатиры (С. 130).

Уже в предисловии С.И. Николаев предупреждает, что его монография не является историей литературы, охватывающей все жанры и памятники эпохи. Автор поставил перед собой другую задачу – показать, как происходило превращение литературы одного типа в другой, средневековой письменности – в литературу Нового времени. По мнению автора, процесс этого превращения наиболее заметен при рассмотрении трех проблем – переводной литературы; статуса автора; поэтического стиля. Соответственно, книга включает три главы: не имеющая собственного названия глава 1; "Новая литературная действительность" (глава 2); «"Стихотворное наречие"

поздней силлабики» (глава 3). Пожалуй, архитектоника книги выиграла бы, если бы и у первой главы имелось какое-то название. Эта самая глава состоит из трех более или менее самостоятельных частей ("Литературная политика Петра I и переводная литература", "Польско-русские литературные связи в эпоху Петра I", "О стилистической позиции русских переводчиков Петровской эпохи"), причем первая из частей, в свою очередь, состоит из нескольких параграфов. Остается неясным, какова субординация разделов главы 2, являются ли они частями этой главы или имеют статус параграфов. Если добавить, что некоторые разделы книги сопровождаются экскурсами, показывающими, как отражаются общекультурные закономерности на микроуровне (например, как переводная новелла становится достоянием устного обихода, как создается семантическая инерция твердых поэтических строк и т.д.), и что, помимо традиционного "Заключения", книга завершается приложениями, в которых публикуются некоторые важные для исследователя тексты, – будет ясно, что в организации материала С.И. Николаев испытывал определенные трудности.

Достаточно сложная композиция книги объясняется тем, что она является теоретическим исследованием особого типа. Автор стремится свести до минимума абстрактные рассуждения и, напротив, привести как можно больший иллюстративный материал, как можно чаще дать слово современникам эпохи. Труд С.И. Николаева буквально перенасыщен фактами. Выстроены в определенной последовательности, эти факты сами подводят читателя к нужному выводу. Исследователь может позволить себе ограничиться кратким резюме. Характерно, что даже "Заключение" – раздел, в котором формулируются окончательные выводы, С.И. Николаев облек в оригинальный вид. В последних абзацах книги интерпретируется конкретный факт культурной жизни, показывающий, вместе с тем, "параллельное сосуществование разных идейных моделей" (С. 133).

Подобный тип теоретического исследования, требующий исключительной

эрудиции, впервые, кажется, был использован в известной книге Э. Курциуса [1]. Не случайно построение рецензируемой работы отчасти напоминает композицию ее знаменитой предшественницы.

Тот факт, что мы имеем дело с исследованием особого типа, ставит его рецензента в нелегкое положение. Действительно, с одной стороны, обсуждение общетеоретических положений увело бы нас слишком далеко. С другой стороны, едва ли уместно дополнять выстроенные исследователем ряды литературных фактов новыми примерами. Это будет "приращением" слов, но не увеличением их доказательной силы.

Уже на первой странице книги С.И. Николаев устраняется от бесплодных споров о таксономии, о том, как следует назвать литературу наименее "литературного" периода. Важен не ярлык, который будет прикреплен к этому периоду, а правильное понимание роли данного периода в истории русской литературы. В монографии показано, в чем конкретно проявился переходный характер периода, когда прежние ценностные ориентиры сосуществовали с новыми, когда один и тот же писатель мог быть новатором в одном отношении и традиционалистом в другом. В монографии показано, что наименее "литературный" период сыграл, вместе с тем, важную роль в дальнейших судьбах русской литературы.

Нельзя сказать, что литературная культура Петровской эпохи вся охвачена и вся объяснена в книге. Некоторые явления в литературной жизни начала XVIII в. заслуживают дальнейших размышлений. На мой взгляд, очень важно проследить, как развивалась в Петровскую эпоху наметившаяся еще в XVII в. специализация писательской деятельности [2]. Ведь наряду с литературой, которая стала частным делом каждого и оставалась достоянием узкого круга ценителей, существовало производство книг, которым занимались по долгу службы. Это были не только книги по техническим наукам [3], но и памятники ученого богословия. Проблема перерождения духовной литературы тем более актуальна, что большинство героев книги С.И. Николаева — это представители духовенства, причем черного духовенства. Кстати, этот факт сам по себе показывает устойчивость средневековой традиции. "Секуляризация" культуры не подразумевала религиозной индифферентности и ухода от дел чинов церкви. Напротив, все говорит об их исключительной активности, которая проявилась и в спорах о взаимоотношении со светской властью, и в

полемике со старообрядцами, и в преследовании московских еретиков. Однако стремление ограничить компетенцию духовенства сферой его непосредственной деятельности не могло не сказаться на специфике церковной литературы. Русское средневековье отождествляло литературу и религиозную доктрину. Напротив, церковные труды начала XVIII в. суть памятники специальной теологической науки. Ученое богословие теснило традиционную духовную письменность в ее самых заповедных зонах, в частности, в писаниях старообрядцев. Достаточно сравнить "Поморские ответы" с памятниками старообрядческой полемики XVII в.

Все это имеет прямое отношение к теории перевода, обсуждавшейся русскими богословами Петровской эпохи. Позволю себе не согласиться с С.И. Николаевым в том, что перед ними стояла проблема выбора между двумя концепциями перевода, которые сосуществовали в XVII в. и из которых одной придерживался Симеон Полоцкий, а другой — Евфимий Чудовский (С. 72–73). Ведь принцип пословного перевода имел для Чудовского инока не стилистическое, а конфессиональное значение, в этом смысле оппозиция между Симеоном Полоцким и Евфимием должна рассматриваться не в синхроническом, а в диахроническом плане.

Необходимы дальнейшие разыскания в том, что касается связей "секуляризованной" литературы со средневековыми представлениями о ценности написанного слова и смысле литературной деятельности. Влияние этих представлений заметно в литературной политике самого Петра. Реликты субстанциального восприятия слова можно подозревать и в его отвержении беллетристики, и даже в неприятии царем славянизмов, которые он считал уместными только в литургических книгах. Любопытно, что Петр не всегда сходил с со своими современниками в оценке тех или иных проявлений литературного вымысла. В то время, как Федор Поликарпов и Савва Рагузинский ставили на одну доску басни Эзопа и всякие "романцы" (С. 14), царь всячески подчеркивал познавательную ценность басен. Об этом свидетельствует не только многократное их издание, осуществлявшееся по прямому указанию Петра [4]. Российский правитель любил при случае цитировать басни, амстердамское издание Эзопа сопровождало его в Прутском походе [5]. Скульптурные изображения героев басен он поставил в Летнем саду (напоминанием об этом служит памятник И.А.

Крылову); на столбах, вбитых около каждой из скульптур, был написан на жесте текст соответствующей басни и его толкование. Подобные скульптуры украшали и другие сады Петра [6].

Завершившуюся при Петре "секуляризацию" книжной культуры не следует абсолютизировать. В России книга навсегда сохранила свою религиозную значимость. Примечательно, что анализируемый С.И. Николаевым общеевропейский топос, который мотивирует литературные занятия "досугом" и "бездельем" (С. 79–81), не прижился в новой русской литературе. Для нее оставалось актуальным унаследованное от средневековья представление о литературном труде как о религиозном подвиге. "Секуляризованная" русская литература продолжала претендовать на то, чтобы быть "наставницей жизни".

Ценной является та научная работа, в которой есть перспектива, которая может быть продолжена. И все же в рамках проблематики, заявленной в предисловии к книге С.И. Николаева, его исследование можно считать исчерпывающим. Монография "Литературная культура Петровской эпохи", написанная превосходным слогом, который нечасто встретишь в гуманитарных исследованиях, несомненно является значительным фактом в истории отечественной филологической науки.

На счастье, актуальность темы не служит сегодня сколько-нибудь значимым критерием при оценке подлинно научной работы. Тем более интересно, что проблематика рецензируемой книги оказалась удивительно актуальной для нашего времени. Действительно, превращение литературы из общественно значимого в частное дело, вызванное этим неслыханное распростра-

нение литературного дилетантизма и, как следствие, общая деградация литературного мастерства, резкое падение престижа литературной работы, творческое бесплодие, в целом – отсутствие "литературы" при обилии печатной продукции – все эти черты, свойственные русской литературе на исходе XX в., заставляют вспомнить о том "нелитературном" периоде ее развития, которому посвящено исследование С.И. Николаева. По его мнению, смысл предания о литературных занятиях детей Алексея Михайловича заключался в "нобилитации" литературного труда, репутация которого оказалась под угрозой в начале XVIII в. Поневолe задуматься, каковы могут быть средства "нобилитации" искусства слова в конце XX в.

© 1999 г. Д.М. Буланин

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Curtius E.R.* Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948.
2. История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII в. СПб., 1995. Т. 1. Проза. С. 49.
3. *Данилевский В.В.* Русская техническая литература первой четверти XVIII века. М.; Л., 1954.
4. *Тарковский Р.Б.* Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. (Спецкурс.) Л., 1975. С. 29–32.
5. *Пекарский П.П.* Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. 22–23.
6. *Лихачев Д.С.* Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982. С. 125–126.

Славяноведение, № 1

Русь – Литва – Беларусь: Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии. По материалам Международной научной конференции, посвященной 90-летию Н.Н. Улащика (Москва, 31 января 1996 г.). М., 1997. 288 С.

В рецензируемой книге сразу же обращает на себя внимание подзаголовок "Проблемы национального самосознания": именно он

определяет главное ее содержание. Это относится и к части, непосредственно посвященной Н.Н. Улащику – крупному

белорусскому и русскому историку-источниковеду.

Собственно, и все материалы о Н.Н. Улащике, и его собственные тексты подобраны в соответствии с главной идеей сборника – рассмотрению в "контексте творческого наследия видного белорусского историка, деятеля культуры Н.Н. Улащика многих узловых, малоисследованных проблем исторического прошлого, культурно-духовного наследия, национального самосознания белорусов – с учетом международного, в частности российско-белорусского историко-культурного и литературного контекста".

Изданный под грифом трех ведущих институтов РАН (ИМЛИ, ИРИ, ИСБ) сборник формально состоит из трех частей: 1) непосредственно касающиеся жизни и деятельности Н.Н. Улащика; 2) тексты, относящиеся к исследованию проблемы национального самосознания белорусов; 3) "Материалы к биографии", "Научные работы" и "Письма" самого Н.Н. Улащика.

Нельзя не согласиться с редколлегией книги (Ю.Я. Барабаш, А.К. Кавко, И.И. Костюшко, В.А. Кучкин, Н.С. Надьярных): она "междисциплинарна, интернациональна по своему содержанию, авторскому представительству". В ней участвуют историки, филологи, философы, литературные критики, журналисты, писатели, переводчики из России, Беларуси, Польши, Украины. Во "Вступительном слове" к книге С.О. Шмидт в этой связи пишет: "Это все прямые свидетельства и широчайшей взаимопроникающей связи таких отраслей науки, как история и филология в целом, и отдельных разделов истории. Это и свидетельство глубокой, неразрывной взаимосвязи культур славянских народов, в основе которой общие праславянские корни, обусловившие при всем своеобразии каждой из культур и отличительных достижений этих культур, получивших всемирное признание, особое культурное психологическое единство, отраженное на протяжении столетий в памятниках общественного сознания, в быту. В наши дни, когда действуют силы, стремящиеся к разрушению этой близости, естественно, чтобы объединяющие нас и взаимопросвещающие традиции поддерживались учеными, деятелями культуры и чтобы опорой в наших условиях было и богатое наследие Николая Николаевича".

Помимо С.О. Шмидта с воспоминаниями о Н.Н. Улащике выступили близко его знавшие В.И. Буганов, А.К. Кавко, В.А. Кучкин, И.И. Костюшко и другие, рассказавшие о "человеке редкого трудолюбия",

"ученом-патриоте", "исследователе и просветителе", труды которого "заняли достойное место в историографии Белоруссии и за ее пределами".

Материалы второй части сборника убедительно отражают этап изучения "проблемы национального самосознания в историографии и культурологии", в котором задействован чрезвычайно разнородный и порой весьма противоречивый спектр различных сил. С формальной точки зрения в спектре этом доминируют три исследовательские группы: представители традиционной советской научной школы, продолжающие исповедовать прежние взгляды, нередко серьезно коррелированные; "национально ориентированные", не взирая на время и условия, исследователи (к которым несомненно относился и Н.Н. Улащик); представители прежней номенклатуры различного рода, преимущественно партийно-идеологической, создававшей и питавшей саму систему, а ныне подвергающие ее критическому (часто в ругательной форме) анализу.

Для меня, хорошо знавшего Николая Николаевича Улащика с 1970-х годов, наибольший интерес представляет третья часть сборника ("Приложение"), содержащая фрагменты рукописного наследия историка, "с 15 лет считавшего, что в мире нет ничего более интересного, чем история и этнография Беларуси", испытывавшего в самом начале творческого пути влияние работ своего знаменитого земляка-белоруса, выдающегося слависта Е.Ф. Карского. "Приложение" включает документальные биографические свидетельства, прежде всего, автобиографические материалы Н.Н. Улащика, прожившего долгую (1906–1986), полную драматизма жизнь, в которой спроецировались многие трагические моменты отечественной истории XX в., в том числе массовые репрессии 1930–1950-х годов, о которых, впрочем, историк всегда вспоминал скупой, особенно применительно к собственной судьбе. Очень ценна для понимания творческих замыслов Н.Н. Улащика часть "Приложения", озаглавленная "Научные работы", где впервые опубликован ряд небольших его заметок и рецензий. Среди них самым значительным представляется историко-критическое эссе-разбор «Воспоминания» Эдварда Войниловича – одна из последних работ ученого, всегда смотревшего в будущее, предчувствовавшего тот сложный и противоречивый этап эволюции национального самосознания белорусов, который мы наблюдаем и сегодня, все чаще называя его

самопознанием. Этому, собственно, и была посвящена жизнь Н.Н. Улащика, весной 1985 г. в послании видному государственному деятелю К.Т. Мазурову с гордостью подчеркивавшего близкую им обоим мысль о героическом характере белорусского народа, особенно проявившемся во время Великой Отечественной войны (С. 281–284).

Своеобразным продолжением московской конференции следует считать более масштабную минскую, прошедшую 14–15 февраля 1996 г. под эгидой Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела и Исторического факультета Белорусского государственного университета [1]. Редакторами-составителями этого сборника, посвященного памяти Н.Н. Улащика, выступили

А.М. Гесь и В.В. Скалабан. Последний наряду с А.К. Кавко и Р.М. Чигировой, – составитель специального биобиблиографического указателя: "Мікалай Мікалаевіч Улашчык", изданного Национальной библиотекой Беларуси в 1996 г.

© 1999 г. Ю.А. Лабынцев

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. М.М. Улашчык і праблемы беларускай гістарыяграфіі, крыніцазнаўства і археаграфіі (да 90-х угодкаў вучонага): Матэрыялы навуковай канферэнцыі. Мінск, 14–15 лютага 1996 г. Мінск, 1997.

Славяноведение, № 1

J. DOHNAL. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Masarykova univerzita v Brně. 1997. 134 S.

Й. ДОГНАЛ. Рассказы Леонида Николаевича Андреева

Монография чешского русиста Йозефа Догнала "Русские рассказы Леонида Николаевича Андреева" посвящена, прежде всего, проблемам поэтики выдающегося русского писателя. Автор ограничил материал исследования рассказами и повестями Андреева, рассмотренными, тем не менее, в контексте всего творчества писателя: в книге немало отсылок к драмам, особенно "Жизни Человека", к роману "Сашка Жегулев", к публицистическим и иным работам Андреева. Центральной проблемой для Й. Догнала стала концепция личности в прозе Андреева. Это позволило найти "равнодействующую" между мировоззрением писателя и характерными для него стилевыми приемами.

Основная часть книги разделена на пять глав: "Специфика изображения литературного персонажа", «Человек и его "я"», "Человек как часть человеческого сообщества", "Человек и природа /.../", "Человек и время, человек и история". Во введении автор знакомит читателя с биографией и творчеством Андреева, со степенью изученности его наследия и изданиями произведений, на которые опирается исследователь.

Здесь сформулированы и задачи работы: сквозь призму поэтики показать отношение Андреева к человеку и человеческим ценностям, точнее определить его вклад в развитие русской литературы конца XIX – начала XX в. Й. Догнал привлекает для анализа значительное число произведений Андреева, от ранних рассказов до неоконченного "Дневника Сатаны", вычлняя те или иные структурные элементы. Особенно подробно он рассматривает два произведения писателя: "Мысль" (в связи с анализом психологии персонажей) и "Губернатор" (в связи с проблемой художественного времени).

Й. Догнал отталкивается даже не от первых рассказов Андреева, а от его судебных репортажей, прослеживая, как отразилось юридическое образование писателя на композиционных особенностях его прозы. Человек у Андреева, подчеркивает автор монографии, оказывается в таких ситуациях, когда в его внутреннем мире происходят резкие сдвиги, обусловленные столкновением его индивидуального "я" с законами и интересами общества. Рассказы Андреева

построены антропоцентрически, с фокусировкой внимания на психике центрального персонажа. Его внутренняя жизнь разделяется, согласно концепции Догнала, на три отрезка: "состояние перед", "момент перелома" и "состояние после". Переломным моментом становится событие или ситуация, в результате которых судьба человека и его душевное состояние уже не могут вернуться к прежнему: например, убийство ("Мысль"), расстрел демонстрантов ("Губернатор") или нечто менее драматичное, но весьма значимое для жизни персонажа, неожиданное, непредсказуемое. Сознание героя утрачивает былую устойчивость и целостность, в нем активизируются элементы бессознательного, не подчиненного рассудку и воле. Бессознательное связывает человека с памятью прошедших поколений и уводит глубже, на уровень биологический, где не только равны все сословия, но и прослеживается родство человека и животных, пробуждаются первичные инстинкты (желание Керженцева вить, ползать, царапаться – "Мысль").

Система персонажей у Андреева, как показано в третьей главе, выстраивается "концентрическими кругами": те, кто непосредственно связан с центральным персонажем, и эпизодические лица, своего рода фон повествования. Привычные связи между людьми – семейные, дружеские – распадаются, происходит отчуждение личности от себе подобных, вступают в сложное взаимодействие психика героя и социальные закономерности. Мысль об отчуждении, "ограничении" индивидуума развивается и в главе о художественном пространстве, где в рамках проблемы "человек и природа" рассматривается отношение человека к городу, "рукотворному окружению" и к природе как таковой. Человек ощущает себя стиснутым, сдавленным многими преградами, скованным зловещими, враждебными рамками домов и улиц ("Город", "Проклятие зверя"). "Живая" природа, из которой он когда-то вышел, не позволяет установить с ней органическую связь. Важную роль играет здесь прием персонализации (т.е. сопоставления стихии с человеческой психикой): например, образ беснующейся ночи в повести "Жизнь Василия Фивейского". Человек у Андреева то стремится вырваться из ограниченного пространства, то, наоборот, находит пристанище в пространстве закрытом (доме, комнате), позволяющем хоть как-то прочувствовать границы собственного "я" и близость других людей.

Последняя глава раскрывает связь между психической жизнью центральных пер-

сонажей Андреева и организацией художественного времени в его произведениях; выделяется здесь и роль рассказчика. Субъективно переживаемое время и направляемая рассказчиком фабула становятся определяющими в событийно-временной последовательности. Вычленение разнообразных уровней в восприятии времени – объективное время реальности, субъективное время индивидуума, абстрактное время человечества; прошлое, настоящее и будущее; повествовательное время, время рассказчика и время читателя – создает порой запутанную картину. Весьма важен вывод о том, что "абстрактное время человечества" становится уровнем, где сосредоточены основные этические ценности, гуманные достижения цивилизации и непреходящие истины. Соотнесение своей жизни с этим уровнем – признак "нового состояния" персонажа. Необходимость прорыва к общечеловеческим ценностям оказывается нравственной потребностью ряда персонажей Андреева – часто, увы, практически не реализованной.

И. Догнал выделяет этическую доминанту творчества Андреева, подчеркивает гуманистический характер его творчества, скрывающийся под поверхностью пессимизма и безнадежности. Именно в художественном творчестве (в отличие от публицистики), отмечает автор монографии, выразилось стремление писателя к подлинным, вечным ценностям жизни, которые нередко отходили на второй план в объективной действительности. Андреев в известной мере предвосхитил дальнейшее развитие литературы – например, экспрессионизм. Помимо традиционно усматриваемых связей с ним, Догнал обнаруживает черты, сближающие творчество Андреева и с таким более поздним течением, как экзистенциализм, а также с "магическим реализмом".

Попытки автора монографии вычленить в той иной области диалектическую триаду явлений порой приводят к неясностям, как уже было отмечено на примере художественного времени. Так, плодотворное в своей основе рассмотрение различных состояний и уровней человеческой психики излишне схематизируется. Одновременно происходит путаница терминов "подсознательное" и "бессознательное", употребившихся Андреевым в противоположном порядке (ср. цитату на С. 25). В результате не слишком внятным и убедительным предстает условное "соответствие триады уровней душевной организации персонажей и триады их отнесенности к социальным

моделям в творчестве писателя" (С. 69). Й. Догнал выстраивает схему "подсознательное – общее понятие о человеке, бессознательное – социальный тип, сознание – индивидуализированный характер в литературном произведении", тогда как Андреев подразумевал под бессознательным как раз общую для всех людей психическую основу.

Монография в целом отличается четким, подробным стилем изложения. Цитаты из произведений Андреева и сами их названия

даются по-русски, в русской графике (а не в латинской, как это бывает). Издание снабжено библиографией и двумя резюме – на русском и немецком языках.

Книга Йозефа Догнала, несомненно, заинтересует исследователей творчества Леонида Андреева в различных странах, в том числе и в России. Это важный и своевременный вклад в диалог двух славянских культур.

© 1999 г. Н.В. Шведова

Славяноведение, № 1

История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. I: От истоков до середины XVIII века / Отв. ред. А.В. Липатов. 888 с.; Т. II. Вторая половина XVIII века – 80-е годы XIX века / Отв. ред. С.В. Никольский. 672 с.

С момента первой попытки обобщения в России опыта развития славянских литератур А. Пыпина и В. Спасовича "История славянских литератур" прошло более ста лет. Рассматривая славянский мир и славянское культурное пространство (хотя и в национальных его проявлениях) как общность своеобразную, закрытую и непонятную западноевропейской цивилизации, Пыпин и Спасович тем самым способствовали созданию мифа о загадке славянской души.

Мифотворчество о славянах не иссякло и до сегодняшнего дня, часто воплощаясь в тезисе о фатальном отставании славянской культуры от Запада. Поэтому столь своевременным и актуальным представляется коллективный труд ученых Института славяноведения Российской Академии наук "История литератур западных и южных славян" (в трех томах) как "опыт комплексного исследования развития болгарской, сербской, хорватской, словенской, македонской, польской, чешской, словацкой, серболужицкой литератур от их дописьменных истоков до середины XX в." (Т. I. С. 6). Вышли из печати первые два тома, по которым можно судить о замысле труда в целом.

Отметим, что у коллектива ученых Института славяноведения сложился богатый

опыт по изучению национальных славянских литератур. Широко известны "Истории" польской, словацкой, очерки истории чешской и болгарской литератур, исследования, связанные с развитием литературных направлений, жанров и творчеством отдельных писателей.

В первом и втором томах рассматриваемого труда собран богатый фактический материал, представляющий пути развития культур южных и западных славян от истоков фольклора, письменности и христианства до 80-х годов XIX в. Значение издания заключается не только в том, что многие факты вводятся в литературоведческий оборот впервые, но и в новизне их систематизации и оценок. Главное же то, что богатый историко-культурный материал подчинен общей концепции и представлен в целостном труде. Его авторы успешно доказали несостоятельность тезиса об извечном отставании славянских культур от культуры стран Западной Европы и показали как общность корней и единство происхождения культуры славянского мира, так и богатство и многообразие литературы каждого народа, входящего в славянскую семью.

История народов славянских стран южного и западного регионов складывалась трагически: их территории становились

ареной войн, обернувшихся для этих народов утратой независимости и национальным притеснением. Их культура, язык и национальное самосознание развивались в особенно трудных условиях, сопротивление которым во многом определило их специфику. Благодаря своему географическому положению эти народы оказывались мостом между культурами Западной и Восточной Европы.

Авторы "Истории", расположив материал хронологически (принцип общепринятый в такого рода изданиях), в то же время показали, что славянские литературы на протяжении всего существования участвовали в создании общечеловеческих духовных ценностей и мировой культуры, опровергая мысль Гердера, повторенную Спасовичем о том, что славяне "занимают больше места на земле, чем в истории" [1].

Являясь частью мировой культуры, славянские культуры имеют свою специфику развития. Интегрированность славянского мира — общность происхождения, сходство исторических судеб, близость языков и культур славянских народов — не исключает ни фактора "особенного" или "особого" их развития, ни национального своеобразия жизни и культуры каждого народа. Авторы подчеркивают, что "некоторые славянские литературы после столетий иноземного гнета вступили в пору "ускоренного развития" (Т. I. С. 7), стремясь наверстать "исторически" упущенное время новой культуры после принятия христианства" (Т. I. С. 12).

А. Липатов отмечает, что христианская цивилизация "опиралась на живое наследие культур иудаизма, греческой и римской античности" (Т. I. С. 13). Обращаясь к раннему этапу влияния христианства, он оспаривает тезис Д. Лихачева о "трансплантации" духовных ценностей в процессы живого развития славянских языческих культур. Отметим, что и само христианство опиралось не только на традиции культур классических цивилизаций, но и на систему нравственных и культурных ценностей язычества и фольклор европейских народов. Учитывая сложность этих процессов, взаимовлияние языческих и христианских культур, скорость распространения и адаптацию последней к местным условиям, следует признать не только "возможность, но и закономерность вживления" ее идеалов и принципов в систему ценностей жизни тех народов, которые были объаты христианским миссионерством, а затем и самой христианской религией. Разделение христианства на православие и католичество в

числе названных в коллективном труде причин (причастность к центрам религии Греция — Рим), ортодоксальность (православие) и адаптация к новым условиям (католичество), "срачивание" принципов христианской культуры с местными или локальными условиями и их встречное влияние на процессы "христианизации" народов способствовали социально-культурной дифференциации славянских народов.

Представляя этапы становления славянской культуры, В. Топоров говорит о преемственности между язычеством и дописьменным периодом и христианством и письменным периодом ее развития (Т. I. С. 40), показывает богатство и многообразие праславянской устной словесности и процесс историко-эстетической подготовки человека к переходу от восприятия фольклора к восприятию литературы.

Как справедливо отмечает Б.Н. Флоря, в VIII—IX вв. историческое развитие славян претерпело важные изменения: к этому времени относятся возникновение первых славянских государств и определение территориальных очертаний славянского мира, "где утвердился традиция писания текстов на родном языке с помощью специально созданных алфавитов" (южные славяне) и "процесс создания у западных славян национальной письменной традиции на основе использования латинского алфавита" (Т. I. С. 97, 104—105). К сожалению, литература Великой Моравии и деятельность Кирилла и Мефодия представлены недостаточно, хотя и подчеркивается "сложность общей культурной ситуации" в этом регионе и факт "перекрещивания" в нем в IX в. "культурных влияний, идущих как из латинского мира, так и из Византии" (Т. I. С. 105).

IX в. — начало эпохи Средневековья в славянских литературах, дифференцированного и неравномерного их развития. В данном разделе особое внимание уделяется развитию болгарской (И. Калиганов), сербской (Л. Гаврюшина), чешской (В. Мочалова) и польской (А. Липатов) литератур. Показывая основные закономерности и художественную специфику литературного процесса каждого народа и анализируя творчество выдающихся его представителей, исследователи обратились и к малоизученным явлениям и произведениям. Нет сомнения в том, что болгарская, сербская, чешская и польская литературы на ранних этапах своего существования определили развитие других славянских народов и их культуру. Тем разительнее

ощущается недостаток сведений о литературе Великой Моравии, в которой представлен единственный (хотя и самый замечательный) памятник – "Проглас" (Б.Н. Флоря). Скупой представлена и словацкая литература (Т. I. С. 337–341), хотя автор посвященного ей раздела Л.С. Кишкин подчеркивает, что она "была частью литературы всей Венгрии" и даже "всей латинской письменности" и включала в себя фольклор и "литературу словацкого этноса" (Т. I. С. 337). К сожалению, эти положения не развернуты и не подтверждены литературоведческим анализом хотя бы основных ее памятников.

Раздел "От Средневековья к Новому времени" охватывает XV–XVIII вв. Его автор А.В. Липатов характеризует этот период как смену парадигм, заключающуюся в противоречивом процессе борьбы и одновременно взаимодействия старого и нового (православие – католичество, позднее католичество и реформация, Средневековье – Возрождение, Возрождение – Барокко), причем противодействие православия и католичества литературовед рассматривает как "аналог глобального конфликта". В литературном процессе отмечается параллельное и синхронное существование барокко и классицизма, бывших продолжением и модификацией ренессансной художественной системы (Т. I. С. 401). Отметим также, что эти литературные направления вырабатывали и собственные эстетические критерии, новую систему идей и нравственных ценностей, соответствующие новому социальному мироустройству.

Авторы труда показали развитие литературы каждого народа в контексте культур региона (южные и западные славяне), всего славянского мира и европейского литературного процесса. Можно выделить две главные тенденции: дифференциация (становление и развитие культуры каждого народа) и интеграция (вырабатывание общеславянских черт культуры). На фоне и под влиянием сложнейших исторических процессов – кровопролитных войн, распада лоскутных империй, принятия христианства и его раскола, способствовавшего разрушению славянского единства – происходило оформление славянской государственности и становление литератур каждого народа. Авторы труда подошли к этой проблеме по-разному и по-разному отразили литературное развитие отдельных народов.

Уместно заметить, что редколлегия самые значительные объемы в "Истории" (I и II тома) отвела польской литературе.

(Главы, посвященные Средневековью, Возрождению, Барокко, Просвещению, принадлежат перу А. Липатова, раздел о романтизме – Б. Стахееву, Л. Софроновой, Д. Прокофьевой, В. Мочаловой; о позитивизме – К. Горскому.) Это дало возможность показать богатство и своеобразие развития польской литературы в контексте историко-социального развития страны, разностороннее влияние католицизма, сложность взаимоотношений с восточнославянскими народами, взаимодействие светского и религиозного направлений в искусстве, обусловленность процесса развития культуры и морали явлениями государственно-политическими и распространением католичества. Большой объем определял порой и стиль отдельных авторов. Так, А. Липатов прибегает к приемам, свойственным скорее художественной прозе. Приведу лишь один пример: "... ренессансные свершения Варшавской конфедерации были окончательно погребены сарматизмом времен торжествующей и всемогущей контрреформации: республика шляхты разных народов стала республикой шляхты католиков-поляков" (Т. I. С. 589). Речь идет о процессе разрушения польской демократии конца XVII в. и связанных с ним последствиях конфессионального разделения страны, приведших к монокатолизации Польши и колонизации белорусов, украинцев, немцев, татар и носителей иных религий. Процесс национально-политического и религиозного притеснения сказался и на развитии культуры. Польша – одна из самых больших и многонациональных стран в Европе – дала миру пример многоэтнической демократии и литературы, создала крупнейшие культурные центры не только при королевском и аристократических дворах, но и вокруг Ягеллонского университета и Киево-Могилянской академии, подарила миру известных писателей и поэтов (М. Рей, Я. Кохановский, В. Потоцкий, плеяда Морстинов), а также открыла возможности для творчества выходцам из социальных низов (К. Твардовский). XVIII в. в истории польской культуры ознаменовался усилением тенденций подражания вначале саксонским, а позднее французским художественным традициям. Сарматская литература, хотя и имела свои достижения, но до вершин предыдущих периодов уже не поднялась. Общественно-политические внутренние противоречия и передел мира в Европе вели Польшу к социальному закату и трем ее разделам.

В развитии чешской литературы XV–

XVIII вв. исследователи отметили парадоксальные несоответствия между социально-политическим и литературным развитием: подъем и высокие достижения в литературе связаны с трагическими или даже застойными периодами истории. Автор раздела о чешской литературе В. Мочалова говорит о присутствовавших двух противоречивых тенденциях: в одной определяющими были эстетические функции произведения, во второй предполагалось подчинение художественных факторов критериям нелитературным: дидактическому, религиозному, политическому и др. (Т. I. С. 605). Это свидетельствовало о тесной близости литературы и религиозно-политической жизни страны, двигавшейся от католицизма к реформации. У истоков этого процесса – фигура Яна Гуса, выросшего из представителя "интеллектуальной и моральной оппозиции официальной церкви", ректора Пражского университета в народного трибуна и вождя (Т. I. С. 612). Ян Гус сумел превратить университет в центр реформационного движения, поддерживаемого даже королем, и распространить свои идеи среди широких народных масс. С начала XV в. общественно-политическое, церковно-реформаторское и литературно-историческое развитие страны шло под знаком идей Гуса и его последователей. Однако гуситские революции и войны привели Чехию к изоляции, а утилитарно-политические задачи, ставившиеся перед литературой, заглушали ее ренессансные тенденции и, как справедливо отмечает В. Мочалова, приостановили естественное развитие гуманистической культуры (Т. I. С. 639). Барокко в Чехии развивалось в условиях контрреформации, Тридцатилетней войны и утраты государственной самостоятельности. Это порождало пессимистические тенденции в искусстве, пытавшемся осмыслить трагизм эпохи.

Третьим важным центром культуры была Болгария, в периоды расцвета оказывавшая влияние на весь славянский регион. К сожалению, Болгария раньше своих западных соседей – Польши и Чехии – оказалась в неблагоприятных условиях: феодальная раздробленность и безуспешные войны, византийское влияние, затем турецкая неволя не способствовали развитию литературы. И все же, как справедливо отмечает И. Калиганов, Болгария оставила миру пять даров (Т. I. С. 830, 831), главный из которых – утверждение дела Кирилла и Мефодия, создание азбуки "кириллицы", ставшей основой письменности для многих, в том числе и неславянских народов, и

памятников литературы общехристианского содержания. Османское пятисотлетнее иго не смогло уничтожить ни болгарского языка, ни болгарской литературы.

Итак, Болгария, Чехия, Польша – наиболее развитые в древности страны западного и южного славянских регионов, утратив к XIX в. национальную независимость, несмотря на трудные условия, сохранили не только национальное самосознание, обычаи, язык, веру, но и культуру, развивавшуюся как на территории этих стран, так и в вынужденной для ее деятелей эмиграции. Будучи трагическим фактором для творческой элиты, эмиграция объективно послужила распространению славянских культур в Европе.

Что касается культур малых народов региона, их судьбы сложились еще более драматично: потеряв независимость еще на заре своего становления, они стали лакомым куском более сильных государств: словаки и серболужичане подвергались нашествиям с запада и севера, балканские народы стали жертвами завоевателей. Это сказывалось на развитии литературы. Не случайно Л. Кишкин отмечает, что самые древние памятники словацкой письменности создавались на чешском языке, затем сложился своеобразный гибрид – чешско-словацкий язык, ставший, видимо, средством устного разговорного общения. "Высокая" же литература создавалась на латыни. Л. Кишкин приводит примеры наиболее значительных литературных памятников на латинском, чешском, венгерском языках.

По существу о статусе словацкого языка впервые заговорил известный ученый Матей Бел. В его трудах словаки рассматриваются как потомки славян Великой Моравии, а словацкий язык по красоте и значимости ставится в один ряд с испанским, итальянским, французским.

Не менее драматична судьба серболужичан и их культуры. А. Гугнин отмечает, что она существовала в условиях жестокой германской колонизации. Немецкая экспансия на серболужицкие земли, двуязычие и религиозный раскол усугубили трудности развития литературы. Автор раздела подчеркивает, что светская литература на родном языке начала зарождаться только в XVII в.

Литературы стран и областей Балканского региона развивались в условиях "постоянной турецкой угрозы". Отметим, что и территории эти не были исконно славянскими. Дославянские народности – представители романских этнических групп – в результате сложных и длительных

процессов ассимиляции приобрели, по словам О. Акимовой, "славянский этнический облик" (Т. I. С. 711). Однако притязания Венеции и Венгрии на Адриатическое побережье – территории Хорватии, Далмации, Дубровника – не прекратились. Кроме того, с XV в. они, хотя и в разной степени, подвергались опустошительным турецким набегам. В области культуры наблюдалась меньшая, чем в других славянских странах, политизация. О. Акимова подчеркивает: "Культурные контакты итальянских и долматинских народов были интенсивными и складывались в основном вне политической конъюнктуры" (Т. I. С. 714). Исследователь опровергает расхожее мнение о том, что долматинская культура была лишь репликой итальянского Ренессанса (Т. I. С. 715), отмечая факт "вживания" ее в античность. Очевидно, суть этого процесса заключается не только в том, что города Далмации располагались на месте античных поселений (Т. I. С. 715), но и в интереснейшем опыте "наслоения" культуры в результате освоения пришедшими на эти земли славянами античной и средневековой традиции. Процессы влияния итальянской культуры на балканских славян далеко неоднозначны. Наряду с преемственностью традиций, влиянием языка и литературы присутствовало и длившееся веками политическое давление Венеции. Однако главную опасность для славян представляли турки. Естественно, что тема турецкой угрозы прошла через все виды литературы, оставшись актуальной даже в тот период, когда у ослабшей Османской империи начали отвоевывать славянские земли набиравшие силу западноевропейские государства.

Итак, литературы западных и южных славян отразили сложные пути славянского мира, шедшего от этнической и религиозной общности к территориально-государственным, языковым, культурно-этническим разделам. Социально-исторический путь каждого нового образования вел к становлению его национальных черт, одним из важных показателей которых были национальная культура и язык. Географическое положение южных и западных славян (центр и юг Европы) стало причиной постоянных войн за их территории, дополнявшихся войнами религиозными. Это определило трагизм их культурно-исторического и национального развития. К рубежу XVIII–XIX вв. практически все страны западно- и южнославянского региона утратили государственную самостоятельность.

С.В. Никольский отметил тесную связь

развития литературы XIX в. с "процессом национального самоутверждения и освободительной борьбы" (Т. II. С. 10). Значение последней было столь велико, что под влиянием восстаний и революций; начавшихся с 1804 г. (Сербия) и прокатившихся по этим землям до 1830 г. (Польша) и 1848 г. (Чехия, Хорватия), проходило развитие национальных культур, а активное участие их деятелей в важных социально-исторических событиях определило значимость индивидуально-творческого фактора. "Новая эпоха ознаменовалась утверждением ценности человеческой личности и ее авторских дерзаний", пишет С.В. Никольский (Т. II. С. 14). Это в определенной мере способствовало формированию нового литературного направления – романтизма и характерного для него героя – одинокой, страдающей от несовершенства окружающего мира личности. Однако к новому времени – а именно так определяется XIX в. в рецензируемом труде – не все страны и их культуры пришли одинаково и одновременно. Исключение представляла Польша, в прошлом могущественная и влиятельная страна, утратившая самостоятельность лишь в конце XVIII в. Путь развития ее литературы можно считать "естественным", заключавшимся в последовательной смене историко-культурных циклов и направлений, характерных для цивилизованной независимой страны. Литература остальных стран исследуемого региона, страдавших от национального гнета, развивалась деформированно, с ограничением сферы использования национальных языков, ослабленностью или "купюрами" литературных эпох, социальными и языковыми прессингами со стороны государств-захватчиков. И "подтягивание" культуры западных и южных славян проходило в первой половине XIX в. в условиях "ускоренного развития" (термин и концепция Г. Гачева). С.В. Никольский определяет его как "стяженную" форму процесса (Т. II. С. 13).

В развитии литератур южных и западных славян в XIX в. наблюдаются две тенденции: дифференцирования (осмысление своей национальной неповторимости) и интегрирования (осознание славянской и общечеловеческой общности). Первая тенденция характерна для "сильных" народов, у которых ярко выражены национальные особенности, сохранившиеся даже в экстремально трагические периоды их истории. Выразительным примером такой силы служит Польша. Другим народам сохранить полноту этих черт было труднее по причине

многовекового национального притеснения. Этим объясняется их стремление не только к национальному освобождению, но и к национальному возрождению и ускорению интеллектуально-художественных процессов в развитии литературы.

Романтизм открывал возможности для своеобразного синтеза двух названных выше тенденций. Дифференциация литератур стран южных и западных славян основывалась на языковых, религиозных, социально-исторических различиях и индивидуально-творческих проявлениях представителей культуры (А. Мицкевич, Я. Коллар, П. Прерадович и др.). Но в то же время было и ощущение общности, принадлежности к семье славянских народов и мировой цивилизации. А активизация взаимодействия культур в XIX в. вела к их открытости. Этим объясняется интерес к национальной истории, фольклору, освоению опыта родственных славянских и мировой культур.

Вторая половина XIX в. не принесла, как справедливо утверждают исследователи, изменений в политической судьбе многих южных и западных славян. Ширились революционные и национально-освободительные движения, менялся социальный строй в Европе, но национальной независимости большинство южно- и западно-славянских народов не обрело. Неравномерность социального и литературного развития сохранилась. И все же в литературах исследуемого региона ученые отметили сходные тенденции, сложившиеся в период романтизма, но продолжавшие свое бытование и в реалистической литературе: патриотическая тематика, романтический герой, национально-освободительный пафос и осмысление собственной исторической значимости.

Авторы "Истории" обратили внимание и на смену жанровой доминанты: в эпоху романтизма превалирующую роль играла поэзия, в эпоху реализма доминирующим жанром стал роман. Хотя появление реалистических тенденций началось в 40-е годы, переход к реализму и выработка его особенностей осуществлялось во второй половине XIX в. в соответствии с национальными особенностями каждой литературы. В Польше, по-прежнему остававшейся классической моделью развития литературы, реализм утвердился после восстания 1863 г. и имел позитивистскую окраску. Через увлечение его идеями

прошли Э. Ожешко, Б. Прус, Г. Сенкевич. В чешской и сербской литературах романтизм и реализм довольно долгое время развивались параллельно (Я. Неруда, С. Чех, Б. Немцова). В болгарской культуре развитие было серьезно заторможено многовековым турецким гнетом. С.В. Никольский считает, что выделение в ней художественного творчества из синкретической слаборасчлененной письменности началось лишь в 40-е годы XIX в. (Т. II. С. 362). Автор раздела "Болгарская литература" отмечает влияние на ее развитие народно-освободительного движения, идей просветительства и греческой и русской литературы.

Значение нового реалистического этапа в литературах западных и южных славян заключалось не только в изменении эстетического сознания народов, выработывании новой концепции мира и человека, бытовании новых жанров и приемов, но и в "сближении" литературы с жизнью, усилении внимания к проблеме народа, социальным явлениям действительности и обретении места в европейском литературном процессе.

Ожидаемый третий том "Истории литератур западных и южных славян" завершит картину их развития.

Рецензируемый коллективный труд ученых Института славяноведения РАН появился в период больших социальных перемен, вызвавших переоценку научных и художественных ценностей, идей, концепций. Все это нашло отражение в "Истории". Заслуга авторского коллектива – в оригинальности и новизне их труда для современной науки, демонстрации сложности путей интеллектуального развития культуры западных и южных славян, их роли и вклада в мировую культуру.

"История литератур западных и южных славян" будет одинаково интересна и представителям высокой науки, и студентам – прежде всего славистам, и широким кругам читателей.

© 1999 г. С.Ф. Мусиенко

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Пытин А.Н., Спасович В.Д.* История славянских литератур. СПб., 1879. Т. I. С. 1.

Словацкая литература. От истоков до конца XIX века. Учебник.
 Ч. I. М., 1997. 272 с.

Рецензируемая книга, представляющая собой первый учебник на русском языке по истории словацкой литературы в России, – результат совместной работы кафедры словацкой литературы философского факультета университета Я.А. Коменского в Братиславе, Словакия (доц. З. Какошова, доц. Г. Урбанцова, доц. А. Крулякова, доц. З. Беран), сектора истории славянских литератур Института славяноведения и балканистики РАН (канд. филол. наук Н. Шведова), кафедры славянской филологии филологического факультета (доц. А. Машкова, доц. К. Лифанов, доц. С. Скорвид) и кафедры истории южных и западных славян исторического факультета (доц. Е. Фирсов) МГУ им. М.В. Ломоносова.

Это пособие соответствует программе курса словацкой литературы для студентов-славистов МГУ, однако, фактически, может быть использован и шире – русистами при проведении общеславянских параллелей, а также специалистами по другим европейским литературам для воссоздания общего литературного контекста. В учебнике отражены литературные процессы, имевшие место в Словакии в течение длительного исторического периода – от древности до конца XIX в. В отличие от изданной в 1970 г. академической "Истории словацкой литературы" пособие обладает именно практической ценностью. В этой связи хочется отметить, что главы о средневековье, ренессансе, барокко и, в некоторой степени, о реализме более подробно освещают историко-литературные тенденции, протекавшие в словацком обществе. Уточнена принятая в словацком литературоведении периодизация литературы, в соответствии с которой книга разбита на разделы: истоки (до начала X в.); средневековье (X–XV вв.); ренессанс (1500–1650); барокко (1650–1780); словацкое национальное возрождение (1780–1870), в рамках которого, в свою очередь, выделяются просветительский классицизм (1780–1815), классицизм с преромантизмом (1815–1836), романтизм (1836–1870); первая "волна" реализма (1870–1900). Помимо обзорных глав, начиная с раздела "Словацкое национальное возрождение", приводятся монографические очерки (авторы: А. Машкова,

Г. Урбанцова, Н. Шведова, А. Крулякова, З. Беран) творчества наиболее значимых для истории словацкой литературы писателей. В настоящее время готовится к изданию вторая часть учебника, в которой рассматриваются проблемы словацкой литературы XX в.

В первой главе – "Истоки (до начала X в.)" – исследуются в историческом аспекте зачатки словацкой (по территориальному признаку) литературы в то время еще на старославянском языке. "Проглас святого Евангелия", считающийся первым стихотворным произведением у славян, написан, как полагает А. Машкова, самим Константином Философом, создавшим славянский алфавит. "Жития Константина и Мефодия", вышедшие из-под пера неустановленного автора (по предположению – Климента Охридского), не только стали "истоками" словацкой литературы, но и представляют собой образцы одного из ведущих жанров уже средневековой литературы – агиографического.

В начале главы "Средневековье (X–XV вв.)" проводится доскональный анализ языков, в этот период использовавшихся в словацкой литературе (латынь, чешский, словакизированный чешский), подмечается, что языки, бывшие в обиходе некоторых районов Словакии, – немецкий, польский, венгерский – влияния на литературную ситуацию у словаков не оказывали. С точки зрения культурно-языкового критерия в истории средневековой словацкой литературы можно выделить два этапа. Иллюстрацией первого могут служить "Легенда о св. Свраде (Андрее) и Бенедикте", "Легенда большая, легенда малая" и "Легенда Гартвика", относящиеся к латинской агиографической литературе. Во второй период наблюдается сосуществование религиозного и светского начал при преобладании последнего, более динамичное жанровое расслоение, возводящее словацкую литературу на качественно новый уровень. При интенсивном развитии латинской поэзии и прозы ("Апокриф об Адаме и Еве", "Легенда о Кирилле и Мефодии", "Легенда о св. Прокопии", "Золотая легенда") начинает зарождаться и литература на близком

словакам чешском языке (гимн "Господи, помилуй нас", песни "Бог всемогущий", "Иисусе Христе, щедрый Господь" и др.). Происходит постепенная словакизация языка, о которой свидетельствует один из важнейших литературных памятников XV в. — "Молитвы во время проповеди" на чешском языке, который содержит восточно- и среднесловацкие диалектные вкрапления, а также отдельные заимствования из польского. А. Машкова указывает, что в самом тексте язык определен как *slowensky* (можно перевести как "славянский" или как "словацкий"). Представленные в пособии произведения подвергаются детальному литературному разбору.

В разделе "Ренессанс (1500–1650)" подчеркивается, что литература словацкого Ренессанса жанрово обогащается: от произведений религиозного содержания, философских и научных сочинений до развлекательной литературы, причем немалое внимание уделяется именно эстетическому их восприятию. Помимо духовной появляются гражданская и политическая лирика, эпиграммы, окказиональная поэзия, эпические произведения, отдельные образцы нравоучительно-рефлексивного жанра. В XVI в. начинает формироваться национальный характер словацкой литературы — возникают произведения на местном культурном языке, с тематикой, отражающей именно словацкую действительность (в основном, исторические песни), эволюционирует и латинская поэзия. В литературе словацкого Ренессанса практически не представлена художественная проза. Сохранившиеся памятники прозы относятся к жанру документа (грамоты, городские книги), научных исследования (диссертация, диспут, трактат и т.д.), а также специальной литературы (словари, хроники, календари, сонники и др.). Литературное произведение Ренессанса обычно представляет собой четко выстроенное, гармоничное целое (это характерно и для памятников архитектуры, скульптуры и живописи этого периода).

З. Какошова в главе "Барокко (1650–1780)" замечает, что проблемы предшествовавшего барокко маньеризма, который в словацком литературоведении изучен плохо и потому в качестве самостоятельного течения не выделяется, можно рассматривать на примере творчества Ю. Трановского и П. Беницкого. Словацкая литература этого периода приобретает четкую национальную направленность. С точки зрения жанров можно условно выделить литературу религиозную и светскую, официальную (но все

еще анонимную) и неофициальную (где могли нарушаться нравственные и религиозные принципы), хотя наблюдается их взаимное проникновение. Этот период озаглавлен становлением словацкой художественной прозы, в которой наряду с беллетристическими, можно усмотреть черты назидательной, просветительской, религиозной литературы, проповедей и полемических сочинений. При этом в развлекательной прозе, представленной в основном, юмористическими сборниками, наблюдается отсутствие какого бы то ни было жанрового синкретизма. Яркие образцы светской барочной поэзии были созданы в жанре нравоучительно-рефлексивной лирики (П. Беницкий — "Словацкие стихи"; Г. Гавлович — "Пастушья школа, нравов житница"). Жанр исторического стихотворного эпоса в период барокко переживает значительные изменения, реализуясь в трех жанровых разновидностях — в "збойничьей" поэзии ("Песня о Яношике, разбойнике"), духовной ("Песнь о Новых Замках"), автобиографической литературе ("Судьба Пиларика Штепана").

Большой раздел "Словацкое национальное возрождение" состоит из глав "Просветительский классицизм (1780–1815)", "Классицизм и преромантизм (1815–1836)" и "Романтизм (1836–1870)".

Просветительский классицизм протекает под знаком идеи кодификации общенародного словацкого литературного языка, на основе западнословацкого диалекта воплощенной Антоном Бернодаком. Духовное и светское начала в литературе начинают развиваться параллельно, при постепенном усилении последнего. На переднем плане оказывается проза, к которой относятся любые произведения, написанные не стихами. Следует обратить внимание на Й.И. Байза — "Юноши Рене приключения и испытания", Ю. Фандли — "Доверительный диалог между монахом и дьяволом", Ю. Палкович — поэтический сборник "Муза со словацких гор". Просветительский классицизм знаменателен и тем, что в этот период зарождается наука о словацкой литературе — "Записки о чешско-словацких поэтах"... Б. Таблица — и начинает формироваться литературная критика в виде рецензий и отзывов, публикуемых в периодических изданиях (Ю. Палкович, Л. Бартоломеидес и др.).

В период зрелого классицизма и преромантизма насущной остается проблема литературного языка: наряду с "бернолачтинной" используется чешский язык, однако словацкий культурный мир стремится к

оформлению собственной языковой нормы. Тематически произведения словацкой классицистической литературы направлены на прославление героического прошлого славянских народов. Программу национальной культуры славянства как единого целого отразил Я. Коллар в поэме "Дочь Славы" и в статье "О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими". С произведениями Я. Коллара перекликается творчество П.И. Шафарика – "Татранская муза с лирой славянской" и Я. Голлого – "Святополк", "Кирилло-Мефодиада", "Слав". Зачинателем новой словацкой драматургии стал Ян Халупка, заявивший о себе в литературе сатирическим фарсом "Коцурково, или Как бы нам в дураках не остаться". Период преромантизма, жанрово и тематически выразивший себя более многогранно по сравнению с предшествующим периодом просветительского классицизма, сохраняя еще множество классицистических черт, создал естественные условия существования для следующего литературного этапа в Словакии.

Автор главы "Романтизм (1836–1870)" Н. Шведова выделяет некоторые объективные предпосылки литературного развития, основная из которых – возникновение собственного литературного языка. Л. Штур, опираясь на среднесловацкие говоры, создал именно словацкий язык. Новую языковую реформу горячо поддержали Я. Матушка ("Над Татрой молнии сверкают") и Я. Францисци-Римавский. Поэтические жанры этого периода представлены наиболее разнообразнее прозаическими: это песня, баллада, рефлексивно-лирическое стихотворение, романтическая поэма (Я. Краль – "Завербованный", "Заколдованная дева в Ваге и странный Янко", "Убитый", "Крест и шапка", "Драма мира", "Фрагменты из Яношика"; А. Сладкович – "Марина", "Детван", "Зринский", "Омладинам", "Эти чешские таборы"; С. Халупка – "Убей его!", "Ликавский узник", "Предсказание"; Я. Ботто – "Смерть Яношика", "Сокровище Татр", "Желтая лилия", "Цтибор". Среди прозаиков следует выделить Я. Калинчака ("Могила Милко", "Выборы") и Й. Заборского ("Два дня в Гуяве" и др.). На передний план выходит проза с патристической тематикой, пронизанная героическим или элегическим пафосом. В отличие от предшествующего литературного течения романтизм уже представлен как целостная система со своей развернутой программой. При этом автор отмечает, что происходит естественное взаимодействие и, следовательно, обогащение словацкой

литературы и других славянских, а также западноевропейских литератур. В 1861 г. в г. Мартин состоялся национальный съезд, принятый в качестве итогового документа "Меморандум словацкого народа", в котором среди прочего было закреплено историческое решение эпохального для Словакии значения – об учреждении общенациональной культурной организации Матицы Словацкой. Особое внимание автор главы уделяет анализу материалов IV и VIII Международных съездов славистов (проблематика славянского романтизма).

В главе «Реализм – первая "волна" (1870–1900)» исследуются особенности развития словацкого реализма в контексте других национальных культур. Приоритет поэзии, наблюдавшийся в предыдущие периоды, нивелируется активным развитием прозы. Литературные роды перестают иметь четкие границы. Например, в поэзии появляются лиро-эпические произведения и лирические циклы (П. Оргас-Гвездослав "Жена лесника", "Эжо Влколинский", "Габор Влколинский"; С. Гурбан-Ваянский "Письма с Адриатики", "Вилин"). Проза представлена в основном малыми жанровыми формами (повесть, рассказ, новелла), одновременно возникают, однако, прозаические произведения и большого объема (С. Гурбан-Ваянский – повесть "Летающие тени", роман "Сухая ветвь"; М. Кукучин – новелла "Вот умрет дядюшка из Хохолева", повесть "Судный день", роман "Дом на склоне"; Э. Мароти-Шолтесова – роман "Против течения"; Т. Вансова – роман "Сирота Подградских"). В отдельную подглаву этого раздела выделена "Женская проза", в которой рассматривается творчество Э. Мароти-Шолтесовой и Т. Вансовой.

"Очерк истории Словакии", завершающий учебник, представляет специфику исторического пути словацкого народа с древних времен до конца XIX в., что в значительной степени дает понимание причин неравномерности развития его литературы в различные эпохи. Этот целостный, логически обоснованный материал, к сожалению, собран в отдельной главе в конце книги (несмотря на то, что в каждой главе все-таки приводится, хотя и очень короткая, историческая справка). Нам кажется, что, связав его с литературной ситуацией в каждой из глав, авторы учебника воссоздали бы более полную историко-литературную картину развития словацкого общества.

Данное пособие, имеющее удобный для учебника объем, построено по единой схеме

изложения материала: объяснение термина, временные рамки, исторический фон, культурологический обзор, демонстрирующий процессы развития искусства в его различных проявлениях: архитектура, живопись, музыка, театр, естественным образом влиявшие и на литературу, – с переходом собственно к литературе, анализу языка произведений, их жанрового разнообразия, тематики. Внимание при этом уделяется месту языковой проблемы в словацкой литературе: произведения сло-

вацких авторов долгое время создавались на неродных им языках, а первые попытки кодификации словацкого литературного языка относятся лишь к концу XVIII в. Рекомендуемая литература представлена таким образом, чтобы учебником могли пользоваться не только словакисты, читающие на словацком языке, но и другие слависты, в том числе русисты. Это важно для осознания связей словацкой и других, особенно славянских, литератур.

© 1999 г. *И.А. Андрияка*



Державинские чтения в Санкт-Петербургском университете

Советский период развития славистики оставил немалое, но противоречивое наследие, нуждающееся в спокойном взвешенном анализе. Отказаться от опыта предшественников не только нецелесообразно, но практически невозможно. К таким научным явлениям относится и творческое наследие академика Н.С. Державина, жизненный и научный путь которого, диапазон его интересов, общественная и педагогическая деятельность вызывают уважение. Это обстоятельство обусловило решение Санкт-Петербургского отделения Межреспубликанской научной ассоциации болгаристов (МНАБ) обратиться к творчеству Н.С. Державина как к истоку реализованных и нереализованных замыслов известного слависта, до сих пор не утративших созидательного воздействия на славяноведение. Так возникла идея "Державинских чтений", организуемых Санкт-Петербургским университетом.

Первые Державинские чтения были проведены 18–21 марта 1996 г. На приглашение принять в них участие откликнулось немало славистов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Махачкалы, Харькова и других городов, а также коллеги из Болгарии. На чтениях были представлены Институт славяноведения и балканистики РАН, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, ряд отечественных и зарубежных университетов, Российская национальная библиотека, Библиотека РАН, группа педагогических институтов.

Открыл чтения декан филологического факультета СПбГУ В. Андреев, охарактеризовавший жизненный путь академика Н.С. Державина. С приветствиями выступили генеральный консул Болгарии в Санкт-

Петербурге г-н К. Алдев и председатель правления Петербургской ассоциации международного сотрудничества Н. Елисеева. На пленарном заседании были заслушаны доклады директора Института славяноведения и балканистики РАН В. Волкова "Российское славяноведение сегодня: смена исследовательской парадигмы", А. Доронченкова "Наследие академика Державина и историческая болгаристика", П. Дмитриева о работе кафедры славянской филологии СПбГУ, А. Мыльникова о деятельности Петербургского отделения Научного совета РАН по комплексным проблемам славистики и балканистики и Е. Водолазкина о проблемах болгаристики в трудах Отдела древнерусской литературы Пушкинского дома.

В целом было заслушано более пятидесяти докладов и сообщений. По содержанию они делились на три группы: 1) доклады, непосредственно посвященные анализу научного творчества Н.С. Державина; 2) сообщения, навеянные мотивами державинских исследований; 3) выступления, тематически выходящие за рамки державинского наследия, но представляющие несомненный научный интерес. В итоге с согласия Центрального правления МНАБ было принято решение опубликовать материалы чтений в одном из выпусков издаваемого в Харькове "Болгарского ежегодника", а в Санкт-Петербургском университете продолжить проведение подобных научных конференций.

Вторые Державинские чтения, проходившие 11–13 марта 1997 г., привлекли внимание ученых довольно широким диапазоном представленных проблем. В поле

зрения выступавших оказались археологическая история протоболгарской общности БАЛКЪ (*А. Гидло*), державинское видение этнополитической истории Первого болгарского царства (*В. Козлов*), шипкинская эпопея 1877 г. (*А. Барбасов*), архивные источники к славянскому съезду 1910 г. в Софии (*В. Михайленко*), содержание материалов архива К.Н. Державина в Отделе рукописей РНБ (*В. Загребин*), деятельность Григория Цамблака в Литве (*Ю. Бегунов*), творчество Н. Хайтова как камертон общественной жизни Болгарии последних десятилетий (*И. Садовская*), влияние шовинизма на исторические судьбы болгарского народа (*А. Доронченков*) и др.

Литературоведы и лингвисты прочитали ряд докладов по истории славянских литератур, по проблемам переводов. Болгарские коллеги доложили об изучении болгаро-русских параллелей в литературном авангарде (*В. Янев*), о специфике тырновской редакции Стишного пролога (*Г. Петков*), о понимании Э. Станевым литературно-эстетических ценностей (*А. Бучков*), о мифологических истоках персонажей в творчестве П. Тодорова (*Д. Дончева*). *В. Андреев* прочитал доклад об историческом развитии метафоры вертикали в болгарской литературе, *Ф. Узунколев* посвятил свое выступление теории и практике перевода национально-исторических особенностей поэзии Х. Ботева, *Л. Тарасова* рассказала о своих наблюдениях над передачей ритмов прозы в современных переводах с болгарского языка.

Состоявшиеся 18–19 марта 1998 г. третьи Державинские чтения были посвящены 120-летию освобождения Болгарии от османского ига и прошли под общим названием "История и современные проблемы болгаристики и славистики". По традиции их организатором выступили Санкт-Петербургский университет и Петербургское отделение МНАБ. Работали две секции: "История и культура Болгарии" и "История литературы и языкознания".

Чтения были открыты вступительным словом председателя Петербургского отделения МНАБ *В. Андреева*, остановившегося на содержании основных направлений и перспективах исследований петербургских болгаристов. С приветствием к участникам конференции выступил и.о. генерального консула Болгарии в Петербурге г-н *Ф. Спасов*, который подчеркнул исключительную роль освободительной миссии России в восстановлении болгарской государственности.

Группа докладов касались сюжетов,

имевших непосредственное отношение к русско-турецкой войне. Так, *А. Барбасов* очертил характер и последствия войны 1877–1878 гг. для России и Болгарии, *В. Михайленко* посвятил свое выступление анализу хранящихся в Российском историческом архиве личных фондов участников войны, *Н. Филипченко* рассказал о роли военного министра России Д.А. Милютина во время военных действий. Был прочитан присланный *Е. Даскаловой* доклад "Освобождение Болгарии в русской поэзии". *М. Аникин* рассказал об отражении русско-турецкой войны в художественном собрании Государственного Эрмитажа, привлек внимание к необходимости восстановить Славянскую экспозицию в этом музее.

Непосредственно к научной деятельности Н.С. Державина обратились *А. Доронченков*, который на основе архивных материалов охарактеризовал пребывание Н.С. Державина в Болгарии в 1945 г., и *Ф. Узунколев*, говоривший о проблеме сохранения и перспективах болгарской диаспоры на юге России.

Болгарская тематика нашла также воплощение в докладах *А. Гидло* "Проблемы болгарского этногенеза и Крым", *Н. Калашиниковой* "Фрески Боянской церкви как источник изучения древнерусского искусства" и *И. Садовской* о художественном воспроизведении предыстория гайдучьего движения в фильме М. Андонова "Козий рог".

Доклады по историко-литературной проблематике были посвящены нескольким вопросам. О принципах и поэтике диалогизма в поэзии Н. Вапцарова рассказал *В. Янев*. *Б. Ганчева* анализировала психологические и нравственные перевоплощения персонажей в болгарской литературе на примерах из прозы И. Вазова и Й. Йовкова. Доклад *Л. Тафасовой* содержал аналитический обзор материалов петербургских журналов, обращавшихся к межславянским культурным взаимодействиям. *В. Андреев* конкретизировал историческое развитие славянской этнокультурной общности на материале болгаро-русских аналогов и параллелей.

В лингвистической секции были прослушаны выступления по различным вопросам грамматики, синтаксиса, лексики: об особенностях диалогических текстов (*Г. Бакырджиева*), о языке фельетонов Х. Ботева и Л. Карвелова (*Е. Иванова*), о грамматических формах в современном болгарском языке (*О. Васильева*).

Доклад *О. Сапарева* "Литературная коммуникация" был прочитан на пленарном заседании проходившей в те же дни XXVII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов филологического факультета Санкт-Петербургского университета, вариант доклада прозвучал и на Державинских чтениях.

Участники Державинских чтений единодушно констатировали своевременность их организации и проведения. Чтения вводят в

научный оборот малоизвестные и неизвестные материалы музеев, архивов, привлекают молодых исследователей, пополняют традиции болгароведения и славяноведения ценной информацией, новыми идеями. Они позволяют намечать и перспективы научных исследований, проводимых совместно с коллегами-славистами из разных стран.

© 1999 г. *В. Андреев, А. Доронченков*



ПАМЯТИ БОЖИДАРА ВИДОЕСКОГО

(1920–1998)

16 мая 1998 г. македонская наука, вся мировая славистика понесли тяжелую утрату, потеряв крупнейшего исследователя македонского языка и его диалектов академика Македонской Академии наук и искусств Божидара Видоеского.

Исследовательская и просветительская деятельность Б. Видоеского была теснейшим образом связана с диалектным словом, с инвентаризацией и полной дескрипцией македонских диалектов.

Диалекты стали одним из самых ранних и постоянных увлечений Б. Видоеского. Его пионерские исследования в этой области, которым он посвятил более пятидесяти лет своей жизни, были обобщены в трехтомной монографии "Диалекты македонского языка" и антологии македонских диалектных текстов.

В его многочисленных работах, опубликованных как в Македонии, так и за рубежом, разрабатываются принципы македонской диалектологии и лингвистической географии, дается планомерная систематизация македонского диалектного континуума, который предстает перед читателем в мельчайших деталях. В работах Б. Видоеского поражает обилие конкретно-языкового материала, иллюстрирующего стратификацию диалектных различий. Лингвогеографический анализ данных фонетики, лексики, словообразования, морфологии неопровержимо свидетельствует в пользу предложенного им диалектного членения. В его работах, написанных непосредственно по полевым наблюдениям, нередко дается принципиально новая трактовка того или иного фонетического или грамматического явления.

Академика Б. Видоеского интересовало не только выявление диалектных различительных признаков, но и история их возникновения. Будучи глубоким знатоком истории македонского языка, он изучал процесс формирования македонских диалектов, стремясь постичь закономерности чисто диахронического порядка. Лингвистическая паспортизация диалектных явлений привела его к изучению маршрутов языкового взаимодействия, к выявлению связей македонского языка с другими славянскими и балканскими языками.

Глубокое и всестороннее знание современных македонских диалектов, интерес к их синхронному и диахронному состоянию позволили ему организовать работу над македонским диалектологическим атласом, написать историю македонской языковой системы от периода распада праславянского языка до наших дней.

Влюбленный в македонские диалекты, он умел привить эту любовь своим ученикам и последователям. Будучи директором Семинара македонского языка, литературы и культуры, он приглашал в Македонию своих многочисленных коллег славистов, интересовавшихся македонским языком и его диалектами. Его семинары превращались в своего рода маленькие съезды македонистов. Многие написали свои

первые научные статьи на основе диалектного материала, собранного когда-то академиком Б. Видоеским. Поражало его знание диалектного материала. Часто, показывая иностранным коллегам родную Македонию, он сопровождал свои рассказы характеристикой говора каждого встречающегося на пути села, приводя подробнейшие детали, связанные с его системой вокализма или консонантизма, с лексическими или морфологическими особенностями.

Будучи ярким представителем школы македонской диалектологии, Б. Видоеский участвовал в крупнейших международных проектах по ареальной лингвистике, в частности в Лингвистическом атласе Европы, Общеславянском лингвистическом атласе (ОЛА) и Общекарпатском диалектологическом атласе, где он пользовался заслуженным авторитетом и уважением научной общественности. Его идеи, замечания творчески реализовывались в работе над этими проектами. Огромный авторитет академика Б. Видоеского в Международной комиссии ОЛА при Международном комитете славистов (МКС) в немалой степени способствовал преодолению трудностей в публикации первых томов атласа.

Международный авторитет и признание академик Б. Видоеский завоевал не только своими научными трудами, но и организационной деятельностью в различных комиссиях МКС, членом которых он являлся: в комиссии Общеславянского лингвистического атласа, комиссии по ономастике, комиссии по межъязыковым контактам, комиссии по фонетике и фонологии и др.

Научные интересы Б. Видоеского лежали не только в сфере диалектологии, но и в сфере славянской лингвистической типологии. Как участник проекта "Македонско-польской грамматической конфронтации", он создал регулярные периодические серии "Studia Linguistica Polono-Meridianslavica" и "Folia Philologica Macedono-Polonica", совместно с академиком З. Тополинской работал над "Македонско-польским и польско-македонским словарем" и "Польско-македонской сопоставительной грамматикой".

Б. Видоеского отличала глубокая общенаучная заинтересованность, что находило свое выражение в общении с учеными самого разного профиля. Непринужденная, благожелательно коллегиальная атмосфера его бесед, обаяние, душевная открытость, а также жизненная мудрость влекли к нему людей самого различного возраста – и умудренных опытом ученых, и научную молодежь. Для всех он находил время, чтобы выслушать и поддержать в начинаниях.

Даже теперь, когда Божидар Видоеский переступил порог своей земной жизни, он навсегда останется в наших сердцах человеком глубоко преданным науке, открытым человеческим страданиям и радостям.

© 1999 г. Т. Вендина

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ГИНДИН

Новости – особенно скорбные новости – ползут из Москвы в Иерусалим утрашающе медленно. И новость о том, что не стало моего любимого учителя, друга и оппонента Леонида Александровича Гиндина (1928–1994), тоже добралась до Израйла с тягостным опозданием. Прошло время – но никто пока вроде бы не отдал Л.А. Гиндину долга, который хотел бы в этой короткой заметке отдать ему я.

Л.А. Гиндин обладал несколькими замечательными человеческими чертами. Долго и тяжело болея, он с замечательным мужеством пренебрегал болезнью и продолжал заниматься единственным любимым делом – работой. Не очень избалованный вниманием и заботой коллег, он умел быть по отношению к своим ученикам настоящим, преданным другом. Он был суровым и язвительным критиком, ибо любил *истину* (как он ее понимал) больше, чем людей, – замечательное для ученого свойство, быть может, единственное или почти единственное, связывавшее его с еврейским народом и еврейским Богом. Во многом и многом другом Л.А. Гиндин был, конечно, русским человеком. Помню, с каким удовольствием вспоминал он свое деревенское отрочество, лошадей, сенокос, ночное, да и сам себя определял как "деревенского" и был, вне всякого сомнения, прав.

Л.А. Гиндин принадлежит русской филологической науке, той ее великолепной компаративной школе, которую вместе с ним двинули вперед на рубеже 1950–1960-х годов Трубачев и Дыбо, Иллич-Свитыч и Долгопольский. Сам Л.А. Гиндин остро чувствовал эту принадлежность и с самого начала моего ученья у него настаивал на образцовом характере трудов этих языковедов, рассматривал их сочинения как содержательно и стилистически эталонные, наравне с работами его зарубежных любимцев – Кречмера и Томашека.

Интересы Л.А. Гиндина были определены весьма четко и были уже индоевропейской компаративистики в целом. По-настоящему его волновала только этимология, особенно же – этимология имен собственных в языках балкано-малоазийского пространства. Занимался он и другими проблемами, например, славянской лексикой Карпат и Балкан, славянским этногенезом и многим другим, но по-настоящему зажигался, только когда дело доходило до фракийской, дакийской и позднеанатолийской ономастики. Здесь Л.А. Гиндиным сделано много, и весь собранный им бесценный материал, проливающий свет на происхождение фракийского языка и фракийского ономастикона, к счастью, собран почти целиком в его книгах – исключительно тщательных по отделке и проницательных.

Половину того времени, что я был знаком с Л.А. Гиндиным, я находился в состоянии конфронтации с ним – по поводам научным или околонучным. Последние сегодня уже совершенно не важны и исчерпаны, научные же споры нам удалось сохранить в печатном виде. Общение с ним было для меня источником большой радости, в том числе и интеллектуальной. Я твердо знаю, что ему я целиком обязан своим профессиональным становлением. Жаль, что общения этого было мало, жаль, что нам с ним уже не пополемизировать, жаль, что написано меньше, чем могло бы, жаль, что больше его нет с нами.

Новые издания Института славяноведения РАН

- В 1996–1998 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:
- *Болгария и Россия. Сб. трудов Б.Н. Билунова. М., 1996.
 - *Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996.
 - **Виноградов В.Н., Ереценко М.Д., Семенова Л.Е., Покивайлова Т.А.* Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии. Документы и материалы. М., 1996.
 - **Данченко С.И.* Развитие сербской государственности и Россия. 1878–1903. М., 1996.
 - **Дмитриев М.В., Флоря Б.Н., Яковенко С.Г.* Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале XVII в. Ч. I: Брестская уния 1596 г. Исторические причины. М., 1996.
 - *Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995). М., 1996.
 - *Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
 - Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. Вып. 28–29. М., 1996.
 - **Николаева Т.М.* Просодия Балкан. Слово – высказывание – текст. М., 1996.
 - *Обзоры Научного центра славяно-германских исследований. I. М., 1996.
 - *Очерки истории культуры славян. М., 1996.
 - *Поэзия западных и южных славян и их соседей. Развитие поэтических жанров и образов. М., 1996.
 - *"Путь романтический совершил..." Сб. статей памяти Б.Ф. Стахеева. М., 1996.
 - *Русская эмиграция в Югославии. М., 1996.
 - *Славянские матицы XIX в. М., 1996. Ч. 1–2.
 - *Славянские языки в зеркале неславянского окружения. Тезисы международной конференции. 20–22 февраля 1996 г. М., 1996.
 - **Титова Л.Н.* Образы и знаки в чешской культуре XVIII–XIX вв. М., 1996.
 - **Улурия А.А.* Деятели болгарского национально-освободительного движения XVIII–XIX вв. Библиографический словарь. М., 1996. Т. I–II.
 - *Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997.
 - *Балканские исследования. Вып. 17: Церковь в истории славянских народов. М., 1997.
 - **Венелин Ю.И.* Грамматика нынешнего болгарского языка. М., 1997.
 - Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953. Т. I: 1944–1948. М.; Новосибирск, 1997.
 - *История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. I–II.
 - *Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 1997.
 - *Македония. Путь к самостоятельности. Документы. М., 1997.
 - *Материалы "Особой папки" Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений. 1923–1944 гг. М., 1997.
 - *Натура и культура. М., 1997.
 - Николаева Т.М.* "Слово о полку Игореве". Поэтика и лингвистика текста. "Слово о полку Игореве" и пушкинские тексты. М., 1997.
 - **Никольский С.В.* История образа Швейка. Новое о Ярославе Гашеке и его герое. М., 1997.
 - *Политический ландшафт стран Восточной Европы. М., 1997.
 - *Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997.
 - *Славянские соединительные союзы. М., 1997.
 - **Фрейдзон В.И.* Далмация в хорватском национальном возрождении XIX в. К истории югославизма и его неудачи. М., 1997.
 - **Мургулия М.П., Шушарин В.П.* Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII–XIII веках. М., 1998.
 - *Славянская идея: история и современность. М., 1998.
 - *Слово и культура. Памяти Н.И. Толстого. М., 1998. Т. II.
 - *Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест. 1944–1946. Документы российских архивов. М., 1998.
 - *Центральная Европа в новое и новейшее время. М., 1998.
 - *XVIII век: славянские и балканские народы и Россия. М., 1998.
 - *Ю.И. Венелин в Болгарском возрождении. М., 1998.
- Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения и балканистики РАН, комн. 920. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

| | |
|---|---|
| The presentation of the Polish Republic President Mr Alexander Kwasniewsky on the XII International Congress on Slavic Studies..... | 3 |
|---|---|

ARTICLES

| | |
|--|----|
| <i>Moshkova L.V.</i> (Moscow). The Kliment' of Ochride Hymnography (structure and content specific)..... | 5 |
| "The Utopie and the Utopical" – Round Table Discussion..... | 22 |
| <i>Stankov N.N.</i> (Volgograd). Otto Bauer: 8 Months on the Balhausplatz..... | 48 |
| <i>Maryina V.V.</i> (Moscow). 1944–1945: Were the Russians Expected in Eastern Europe?..... | 60 |
| <i>Lipatov A.V.</i> (Moscow). The Sponsorship in Polish–Lithuanian Commonwealth: High Culture as the Sphere of Epochs Mutual Relations and Continuity..... | 76 |
| <i>Matula V.</i> (Bratislava). Instead of the Ode – the Elegie (on the L. Stur' attitude to A.S. Poushkine) .. | 87 |

COMMUNICATIONS

| | |
|---|----|
| <i>Stykalin A.S.</i> (Moscow). The Russian Slavophile of XIXth century about the Foreign Slavs (V.A. Panov' Itinerary Notes)..... | 94 |
|---|----|

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

| | |
|---|-----|
| <i>Vasilyeva N.V.</i> Й. Баев. Военнополитическите конфликти след втората световна война и България..... | 101 |
| <i>Bulanin D.M.</i> S.I. Nikolaev. The Literature Cultura of the Peter' the Great Epoche..... | 105 |
| <i>Labyntsev Yu.A.</i> Russia – Lithuania – Byelorussia: Questions of the Identity in the Historiography and Culturology..... | 107 |
| <i>Shvedova N.V.</i> J. Dohnal. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva..... | 109 |
| <i>Musienko S.F.</i> The History of Western and Southern Slavs Literatures..... | 111 |
| <i>Andriyaka I.A.</i> The Slovak Literature. From the Beginning to the End of XIX Century..... | 117 |

SCIENTIFIC LIFE

| | |
|---|-----|
| <i>Andreev V., Dorotchenkov A.</i> The Conference in Memoriam of Derzhavin at the S.-Petersburg University..... | 121 |
|---|-----|

* * *

| | |
|---|-----|
| <i>Vendina T.</i> In Memoriam of Bozhidar Vidoesky (1920–1998)..... | 124 |
| <i>Orel V.E.</i> Leonid Alexandrovich Gindin..... | 126 |
| The New Publications of the Institute for Slavic Studies of RAS..... | 127 |

Технический редактор *В.М. Пахомова*

| | | |
|------------------------|------------------------------|---|
| Сдано в набор 11.10.98 | Подписано в печать 25. 12.98 | Формат бумаги 70 × 100 ¹ / ₁₆ |
| Офсетная печать | Усл.печ.л. 10,4 | Уч.изд.л. 10,5 |
| | Усл.кр.-отт. 6,4 тыс. | Бум.л. 4,0 |
| | Тираж 610 экз. | Зак. 4406 |

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в типографии "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6

Индекс 70891